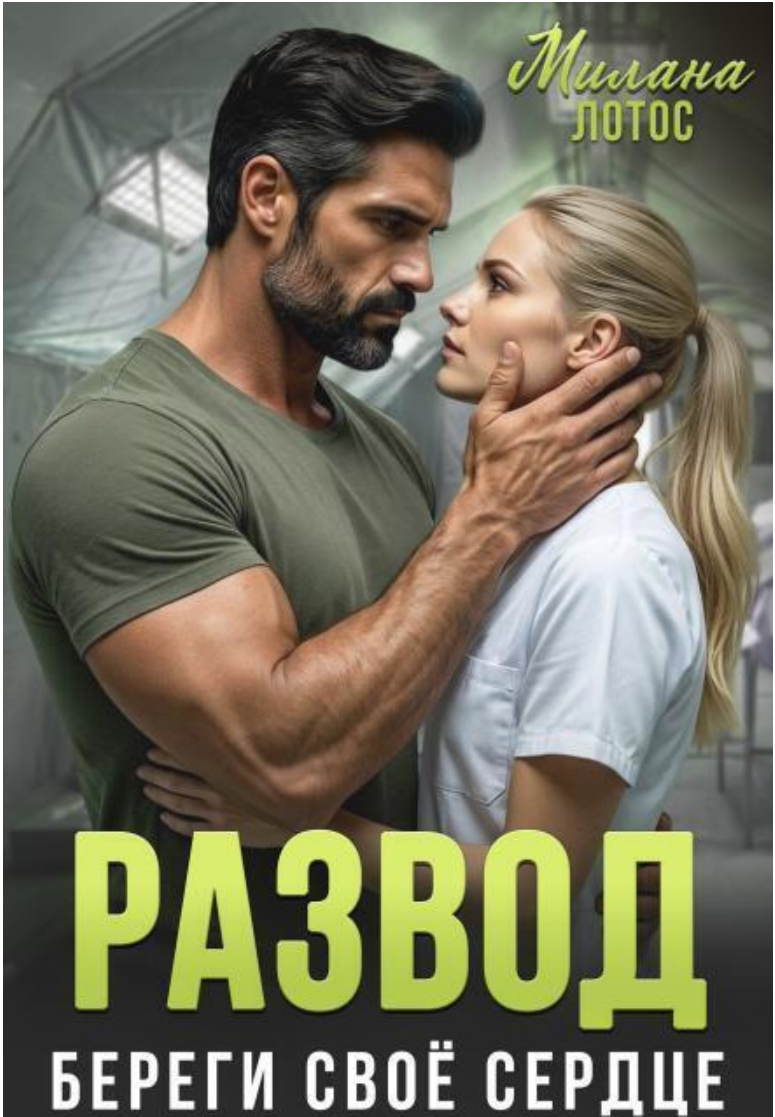

Милана
ЛОТОС
РАЗВОД
БЕРЕГИ СВОЁ СЕРДЦЕ

Милана Лотос
Развод. Береги своё сердце

https://litres.ru/74776393

Аннотация

Я добегаю до кабинета и распахиваю дверь. Карина сидит на кушетке, мой муж – рядом. Обнимает ее и аккуратно, с ювелирной точностью целует ее губы.

– Фу-у-у, – выдаю я и привлекаю внимание, – вы совсем ошалели, что ли? Чего вы тут устроили? Вадим, это что за театральное представление?

– Угомонись, Олесь, – вскидывается он, видимо, недовольный тем, что я отвлекла его от лобызания красных губ Карины. – Чего истеришь, как базарная бабка? Гормоны? Или, может, климакс пришел незаметно, – усмехается он.

Кусаю губу до боли. Обидно, ведь я еще молодая.

– Кстати, пока ты здесь и не занята, проверь любимую Кариночку на УЗИ. Кажется, мы беременны, и у нас будет ребёнок.

В тексте будет:

❤#Сильная духом героиня, которая не сломается, даже когда прижмет

❤#Настоящий военный, которому никто не был нужен, пока он не встретил нашу девочку

❤#Любовница, она же мачеха, которой очень нужен наш герой (а может и нет)

❤#ХЭ будет, потому что миром правит ЛЮБОВЬ, даже на войне

НЕ ЗАБУДЬТЕ ДОБАВИТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКУ И ПОСТАВИТЬ ⭐АВТОРУ ОЧЕНЬ ЦЕННА ВАША ПОДДЕРЖКА!

Книга участвует в литмобе "Реанимация любви"

Содержание

1. 6
2. 11
Визуализация 16
3. 18
4. 26
5. 31
6. 37
7. 42
8. 46
9. 52
10. 59
11. 66
12. 71
13. 80
14. 88
15. 96
16. 102
17. 109
18. 116
19. 122
20. 127
21. 133
22. 139

23. 143
Конец ознакомительного фрагмента. 145

1.

– Олесь, ты знаешь, что твой муж тебе изменяет? – голос моей помощницы и хорошей подруги ошарашивает. Я замираю и медленно поворачиваюсь. Смотрю на Лилю и вижу в ее глазах суровую правду.

– Это шутка, да? Очередной прикол? – нервно усмехаюсь и закрываю бумажную карту пациентки. – Что ты выдумала, Лиль?

– Ничего я не выдумала, – обиженно пожимает плечами, – не веришь мне. Вон посмотри.

Она кивает в сторону окна и показывает на улицу пальцем. Я осторожно, на ватных ногах, подхожу к окну и смотрю во двор нашей с мужем частной клиники. На парковку подъехал бордовый внедорожник моего мужа и остановился.

– Ну и… куда смотреть-то? – в нетерпении спрашиваю я. - Я что машину мужа не видела?

– Да ты дальше смотри, дальше, – с энтузиазмом произносит Лиля и снова показывает пальцем. – Сейчас откроется дверь пассажирского сидения, и оттуда вылезет любовница твоего мужа.

– Чего ты придумываешь? – рявкаю я, в раздражении и кошусь на нее ястребом, – заняться больше нечем.

– Как хочешь, – ведет плечом и утыкается в компьютер. А я не отвожу взгляда от окна. Я хоть и не любопытная, но

посмотреть все же хочется. Вадим обычно один ездит, а сейчас машина стоит, и он не выходит. Гад такой. Застрял что ли? Проходит минута, вторая и только после этого двери открываются и… из салона выходит мой муж. Вторая дверь – пассажирская, остается открытой и, словно испытывая мое терпение, оттуда никто не выходит. А потом я вижу стройную ногу в черных колготках, черные лаковые туфли и бежевое пальто. Черные короткие волосы и солнцезащитные очки, красная помада.

– Ё-моё! – Выкриваю я. – Да это же Карина. Мать моя женщина. Точнее, мачеха.

Улыбаюсь и ударяю ладонью себе по лбу. – Лиля, это же моя мачеха, жена моего отца. – Который умер три года назад, – напоминает мне. Боль пронзает сердце, заставляя замереть от жгучего чувства, которое растекается по венам раскаленной лавой.

– Да, любимый папочка, – шепчу я и поднимаю глаза на мужа и Карину. Она все еще стоит и осматривается. Словно оценивает нашу с мужем клинику. Карина никогда сюда не приезжала. Говорила, что не любит больницы и вообще после смерти отца, замкнулась и ушла в себя. А тут… нате-ка, посмотрите. Стоит, делает фотографии на телефон, что-то говорит моему мужу.

– Лиль, с чего ты взяла, что это любовница? Тебе приснилось что ли?

– Нет, – все так же обиженно произносит подруга, – про-

сто видела кое-что. А так как ты моя подруга, решила, что ты должна знать.

– Что знать-то? – Раздраженно спрашиваю и осекаю себя. Я сегодня плохо спала, телефон мужа всю ночь пиликал непонятными сообщениями, а на вопрос - что это и почему ты не можешь выключить его. Муж лишь отмахивался и говорил, что это спам. А отключить не может, потому что ждет важный звонок по одному пациенту, которого должны привезти в клинику.

– Что твой любимый Вадим изменяет тебе с твоей мачехой. Смотри! – она показывает рукой на мужа, который подходит к Карине и обняв ее, целует в губы.

— Что-о-о-о? Что-о-о-о?

Я приподнимаясь со стула, и не могу оторваться от увиденного. Любимый и ненаглядный муж, без стыда и совести целует Карину, жену моего умершего отца, а она даже не делает попытки отстраниться от него.

– Что это такое?! – Кричу я не своим голосом и смотрю на бледную подругу.

– Что? Что? Твой ненаглядный Вадим изменяет тебе. Я же говорю.

– Откуда? Откуда ты знаешь? Когда?

– Пару дней назад увидела, когда она к нему приехала в клинику и они закрылись у него в кабинете. Я видела, когда мимо проходила, что они миловались и целовались при открытой двери. Даже не постеснялись персонала, бесстыдни-

ки!

– Я… я это так не оставлю, – я кружусь по кабинету, из рук у меня падает карта пациентки, и я никак не могу собраться. Вижу только, как Лиля подходит ко мне со стаканчиком воды и вливает внутрь меня. Пахнет мятой и чем-то медицинским.

– Успокойся и возьми себя в руки, Олесь! Ты же дочь офицера, тебе не принято раскисать! - сурово произносит, и я киваю. Кусаю губы и мотаю головой, словно хочу сбить морок. Головой-то я все понимаю, глаза видели измену, а вот сердце неприятно покалывает. Словно ржавой иглой касается важного органа и медленно, причиняя боль, проталкивают глубже. Не так больно, скорее неприятно и стыдно. Стыдно за то, что устроил муж на публике.

– Я в норме, – киваю Лиле и выхожу из кабинета. Иду по коридору, в надежде перехватить родственников. Но не успеваю. Они двигаются в сторону моего кабинета и прикрывают дверь. Я ускоряюсь, нужно успеть, пока они не устроили там оргию. Мне все еще стыдно, а вдруг увидят мои пациенты, что они обо мне подумают. Я так долго выстраивала свою карьеру, так медленно и усердно собирала свою клиентскую базу, что потерять сейчас их совсем не хочется.

Я добегаю до кабинета и распахиваю дверь. Карина сидит на кушетке, мой муж – рядом. Обнимает ее и аккуратно, с ювелирной точностью целует ее губы.

– Фу-у-у, – выдаю я и привлекаю внимание, – вы совсем

ошалели, что ли? Чего вы тут устроили? Вадим, это что за театральное представление?

– Угомонись, Олесь, – вскидывается он, видимо, недовольный тем, что я отвлекла его от лобызания красных губ Карины. – Чего истеришь, как базарная бабка? Гормоны? Или, может, климакс пришел незаметно, – усмехается он.

Кусаю губу до боли. Обидно, ведь я еще молодая.

– Скотина! – Рявкаю я и хватаю первое, что попадается под руку. Тюбик геля для УЗИ, но промахиваюсь, тот ударяется о стену и падает на пол.

Муж вовремя нагибается и накрывает Карину собой, чтобы не зацепило. А потом устало качает головой.

– Дура балмошная, тебе место в сумасшедшем доме, но пока ты здесь и не занята, проверь любимую Кариночку на УЗИ. Кажется, мы беременны, и у нас будет ребёнок.

2.

Я смотрю на них и не узнаю.

Не узнаю Вадима — мужчину, которого любила восемь лет. Не узнаю Карину — женщину, которая когда-то приносила мне чай с лимоном, когда я болела ангиной в пятнадцать. Не узнаю этот кабинет — мой кабинет, мою крепость, место, где я спасала чужих детей, вытаскивала их в этот мир кричащими и розовыми.

А теперь здесь — ад.

— Ты… ты серьёзно? — мой голос звучит чужим, севшим, словно я надышалась дымом. — Вы беременны?

Карина поднимает глаза. В них нет стыда, нет вины. Нет даже тени того, что она делает что-то не так.

— Олесь, ну не кипятись, — она поправляет волосы, тем же жестом, которым поправляла их, когда отец был жив. — Жизнь продолжается. Твой папа бы понял.

— Не смей! — рявкаю я. — Не смей прикрываться моим отцом! Ты его похоронила и через месяц накрасила губы красной помадой и сняла траур. Я видела. Ты улыбалась на поминках. Ты улыбалась, Карина!

Она отводит взгляд. Первый раз. Первый намёк на то, что внутри неё что-то есть. Но этого мало. Слишком мало.

Вадим встаёт с кушетки, поправляет рубашку, подходит ко мне. Хочет взять за руку — я отдёргиваю.

— Олесь, ну что ты устраиваешь спектакль? — говорит он вкрадчиво, как с душевнобольной. — Никто никуда не уходит. Ты остаёшься. Карина остаётся. Мы все взрослые люди. Ну, бывает.

— Бывает что? — шепчу я. — Бывает, что муж трахает мачеху в моём кабинете? Бывает, что я должна радоваться, что у них будет ребёнок? А у меня — нет? Никогда не будет?

Слова вылетают сами. Я не хотела это говорить. Не здесь. Не им.

Но поздно.

Вадим молчит. Карина молчит.

И в этой тишине я слышу, как внутри меня что-то рушится. С грохотом. С хрустом. Как падает многоэтажка — этаж за этажом.

Моя семья.

Я думаю о любимом папе. Как он любил Карину. Как покупал ей цветы каждую пятницу. Как говорил мне:

– Олесь, она добрая, ты просто не даёшь ей шанса.

Я не давала. Потому что чуяла. Чуяла, что за сладкими улыбками — пустота.

Но чтобы так…

— Ты была женой моего отца, тринадцать лет, — говорю я Карине. — Ты была моей… – матерью, язык не поворачивается ее назвать, – моей мачехой. Ты спала с ним. Тринадцать лет. А теперь спишь с моим мужем. Ты понимаешь, что это такое? Это не измена. Это плевок в могилу. Ты хоть любила

его… моего отца?

— Олеся, хватит пафоса, — Карина поджимает губы. — Твой отец был хорошим человеком, но он умер. А я живая. Мне уже сорок пять, а твой отец так и не подарил мне ребенка. Я хочу быть счастливой и родить.

— Счастливой? — я смеюсь. Громко, истерично, так, что, наверное, слышно в коридоре. — С Вадимом? Других мужиков, что ли рядом нет. Или ты нашла того, кто рядом? Удобно, ходить далеко не надо, да? Ты думаешь, он женится на тебе?

Вадим вздрагивает. Этот вопрос явно не для чужих ушей.

— Олесь, давай без драм, — цедит он сквозь зубы. — Я никого не бросаю. У нас всё по-старому. Ты – моя жена. Карина — любимая женщина. Все довольны и счастливы. Скоро у нас будет ребенок. Ты же так хотела детей, вот теперь у нас в семье появится малыш. И ты наконец-то успокоишься.

— Успокоюсь! — кричу я. — Ты себя вообще слышишь, Вадим? Ребенок от другой женщины, при живой жене. Ты в какой реальности живешь?

– В нормально реальности. Ты не можешь забеременеть. Ты ущербная и бесплодная, Олесь. От тебя толку ноль, как от женщины. Вот врач ты хороший, а все остальное на троечку с минусом. Так что выбирай или мы продолжаем жить дальше большой шведской семьей или можешь собирать вещи и уёбывать куда вздумается!

– Ты знаешь, дорогой. А спасибо тебе за такой выбор. Я

сто лет не была в отпуске да и мне надоело каждое утро смотреть в зеркало и видеть там дуру, которая выпросила у мужа штамп в паспорте! Все, нахлебалась – надоело!

Голос срывается. Я чувствую, как слёзы подступают к горлу, но я их глотаю. Не здесь. Не сейчас. Не при этих предателях.

— Ну и вали! – рявкает он. – Вот только куда ты пойдешь, ущербная?

– Перестань, Вадик, – ласково шепчет Карина. – Она все же была твоей женой три года. Имей уважение.

— Не лезь, Карин, – скалится он, – со своей женой, я как нибудь сам разберусь.

— Куда ты пойдешь? — он хмурится и повторяет свой вопрос.

— Не твоё дело.

— Олеся, опомнись, — теперь он злится. — У тебя ничего нет. Ни квартиры, ни денег, ни работы. Только эта клиника — моя клиника, между прочим. Ты выйдешь за порог — и ты никто.

— Лучше быть никем, чем твоей женой, — отвечаю я.

Смотрю на Карину. Она бледная. Хотя секунду назад была розовой и довольной.

— Ты, — говорю я ей. — Я надеюсь, твой ребёнок никогда не узнает, как ты с ним поступила. Как ты поступила с моим отцом. Как ты поступила со мной. Потому что если узнает — ему будет стыдно за то, что у него такая мать.

Она хочет что-то сказать, но я не даю.

Разворачиваюсь и иду к двери. Выхожу в коридор.

За спиной — тишина. Потом голос Карины, приглушённый, шипящий:

– Вадим, ну что ты молчишь? Останови её!

– Пусть валит. Она мне больше не жена.

Он не останавливает, потому что ему плевать.

Я иду по коридору мимо медсестёр. Они отводят глаза, видимо всё знали или догадывались. Здесь все всё знали, кроме меня.

Лиля выбегает из кабинета, хватает меня за руку.

— Олесь! Ты куда? – в ее глазах паника, она смотрит на меня и не отпускает.

— Домой. За вещами.

— А потом?

Я останавливаюсь. Смотрю на неё. На единственного человека, который сказал мне правду.

— Потом, к адвокату. Я подаю на развод.

— Олесь, — она сжимает мою ладонь, — у тебя же ничего здесь нет. Может, у меня поживешь?

— Нет, не нужно. У меня есть дом отцовский. В деревне. У самой границы.

— Ты с ума сошла? Там война!

— Там нет Вадима. А значит, там уже лучше, чем здесь.

Визуализация

Дорогие мои читатели, добро пожаловать в новую историю любви!

НАДЕЮСЬ ВАМ ПОНРАВИТСЯ ЭТА ИСТОРИЯ И ВЫ НАГРАДИТЕ АВТОРА ЛАЙКАМИ, СЕРДЕЧКАМИ И ПОДПИСКОЙ!

А СЕЙЧАС я хотела бы вас познакомить с нашими героями

Итак,

Олеся Германова (в девичестве Одинцова), 30 лет,

умница, красавица, акушер-гинеколог по призванию. Была замужем за одним мудаком, но сейчас находится в разводе

Вадим Германов, 34 года, бывший муж, который изменяет нашей Олесе с ее мачехой Кариной. И похоже, они ждут ребенка.

Карина Одинцова, 45 лет.

Мачеха Олеси, была женой ее отца, пока он не умер от рака. Теперь Карина спит с мужем Олеси и ждет от него ребенка.

Друзья, если вам понравились наши герои, напишите об этом в комментариях, мне будет приятно!

И это еще не все визуалы, будут еще, чуть попозже!
А сейчас, листаем дальше >>>>>

3.

Я выхожу из клиники и чувствую, как холодный воздух обжигает лёгкие. Там, внутри, я задыхалась. Здесь — тоже не легче, но хотя бы не пахнет предательством.

Моя машина стоит на парковке. Серый джип, который я купила три года назад на свои деньги. Единственное, что принадлежит только мне. Вадим тогда кривился: «Зачем тебе еще одна машина? У нас есть моя. Одна семья – одна машина». А я настояла. Спасибо, папа, ты научил меня всегда иметь заначку. Жаль на свою квартиру так и не заработала, но кое-какие сбережения имелись.

Сажусь за руль. Ключ на старт. Двигатель оживает, и вместе с ним оживаю я.

Куда ехать?

Адвокат. Мне нужен адвокат. Сейчас, немедленно, пока я не передумала, пока страх не скрутил внутренности в тугой узел.

Забиваю в навигатор: «юридическая контора». Первый же результат. Какая разница? Все они одинаковые. Берут деньги и делают свою работу. А деньги у меня есть. Немного, но на развод хватит.

Еду по городу, и каждый знакомый перекрёсток напоминает о нём. Здесь мы целовались в машине пять лет назад. Там он купил мне мороженое. А вот здесь — у этого свето-

фора — он сказал: «Олесь, давай не будем спешить со свадьбой».

Я и не спешила. Два года ждала, упрашивала, унижалась.

Больше никогда. Слышишь, Олесь, никогда, я не буду выпрашивать у мужчины любви или кольца. Чтоб мне провалиться на этом месте.

Я ударила по рулю и сжала зубы.

– Мудак! – Рявкнула я в лобовое стекло. – Мы беременны и у нас скоро будет ребенок. Злость вырывалась через край потоком и я никак не могла ее остановить. Но пусть лучше злость, чем жалость к себе и обвинение в том, что это я во всем виновата. – Пусть катятся. Оба!

Паркуюсь у серого здания. На вывеске: «Юридическая помощь. Бракоразводные процессы. Наследство».

Захожу внутрь. Маленькая приемная, пахнет пылью и старыми папками. Секретарша — женщина лет пятидесяти с уставшими глазами — поднимает голову.

— Вы по записи?

— Нет. Мне нужен адвокат. Срочно.

— Екатерина Викторовна сейчас освободится. Подождите.

Ждать не хочется. Хочется только одного – бежать. Бежать, куда-нибудь подальше от этого города, от этих людей. От всего. Но я сажусь на жёсткий стул и сжимаю сумку так, что костяшки белеют.

Через десять минут дверь открывается.

— Проходите.

Кабинет маленький. На стене висят многочисленные дипломы, благодарственные письма, на столе — кипа бумаг. Адвокат — женщина лет сорока, в строгом костюме, с острым взглядом, который видно даже через крупные очки.

— Присаживайтесь. Что у вас?

— Хочу развестись с мужем.

— Причина?

— Измена… с мачехой.

Она даже бровью не ведёт, лицо – покерфэйс. Наверное, видела и не такое.

— Фамилия?

— Олеся Алексеевна Германова. Муж — Вадим Андреевич Германов.

Она записывает. Я диктую. Паспорт, дата брака, дата расторжения — пока не известна.

— Дети есть? – все таким же официальным тоном спрашивает, а у меня внутри все замирает. Слова Вадима всплывают и оседают на сердце: “Ты ущербная и бесплодная, Олесь. От тебя толку ноль, как от женщины.” Я стискиваю зубы, чтобы не расплакаться, и тихо отвечаю:

— Нет.

— Общее имущество?

Я вновь застываю и шумно выдыхаю, пытаясь вспомнить.

— Ничего общего, – отрицательно качаю головой, – квартира принадлежит его родителем. Медицинская клиника –

наш общий с ним бизнес, записана на него. У меня только машина, – киваю в сторону окна, – серая. Вон стоит. На ней и уеду.

— Долги? Кредиты? Открытые кредитные карты.

— Моих нет. Его — не знаю.

Она кивает. Смотрит на меня поверх очков.

— Значит так, Олеся Алексеевна. Я готовлю заявление. Делаю запросы по имуществу, долгам, кредитам. Вдруг у мужа есть что-то, что по закону принадлежит и вам. Бывает, мужья скрывают доходы. Проверим. Через три дня свяжусь. Оплата — пятьдесят процентов сейчас, остальное после.

— Сколько?

— Пятнадцать тысяч рублей. Оплата через секретаря, – говорит сразу, когда я тянусь к сумочке.

Она протягивает мне квитанцию для оплату и копию заявления, которую быстро напечатала.

— Ждите звонка.

— А долго?

— Что долго? – сощурив глаза, смотрит на меня.

— Когда нас разведут?

— Если без споров — полтора-два месяца. Если муж будет тянуть — до полугода.

Полгода. Целая жизнь.

Выхожу из конторы. Сажусь в машину. Руки на руле дрожат от того, что я вдруг взяла и сделала. Утром, я еще была замужем и не знала, что муж мне изменяет. А спустя

несколько часов, подала на развод.

Я беру себя в руки, делаю пару глотков воды и еду туда, где жила всег эти три года. Где каждое утро красилась перед зеркалом, которое никогда не было моим. Где складывала свои вещи на полки, которые через неделю уже кто-то освободит для Карины. Где выбирала шторы вместе со свекровью, которая считала меня выскочкой и неумехой.

– Борща нормального мужу свари, сколько он может сухпайками питаться. Весь отощал, смотреть страшно.

Я варила, только он не ел.

– Ты варить нормально не умеешь, – морщился он, плюясь на мою еду. – То пересолишь, то недосолишь. Поучись у моей мамы, она сорок лет поваром в ресторане отработала. Или вон у Карины поспрашивай, раз своей матери нет. Мачеха плохого не посоветует.

Пускай тебе теперь Карина твоя борщи варит, а я умываю руки. Хватит – наварилась.

Я захожу в квартиру.

Тишина. Вадима дома нет. Наверное, празднует с Кариной. Или обсуждают, как будут жить без меня. Пускай, не хочу думать об этом.

Иду в спальню и сразу же достаю чемодан из шкафа.

Кладу самое нужное: джинсы, свитера, бельё, куртку. Тёплые носки — там, на границе, холодно. Папино фото — обязательно. Несколько любимых книг. Туалетные принадлежности.

Не беру косметику. Не беру украшения — всё куплено Вадимом. Не беру шубу. Он мне ее подарил, когда впервые пришёл под утро, пьяный и с красной помадой на воротнике. Не беру ничего, что связано с ним.

Смотрю на обручальное кольцо. Золотое, тонкое. Он надел его мне в загсе с таким видом, будто вешает себе камень на шею.

Снимаю и кладу на тумбочку.

— Всё, — говорю в пустоту. — Ты свободен.

Проверяю документы: паспорт, диплом об образовании, свидетельство о браке — пригодится для развода, медицинская лицензия.

Всё.

Закрываю чемоданы. Выхожу из спальни. Не оборачиваюсь.

В прихожей вешаю ключи от квартиры на вешалку.

Теперь это больше не мой дом. Выхожу из подъезда и загружаю чемоданы в багажник. Сажусь за руль.

И тут накрывает.

Не слезы — хуже. Пустота. Такая, что кажется — внутри меня больше ничего нет. Вынули всё до донышка. И сердце, и память, и надежду.

Я сижу, сжимая руль, и смотрю на фасад этого дома, где прожила три года. Три года чужой жизни.

Телефон пиликает. Лиля.

«Ты как?»

Отвечаю: «Все нормально, жива. На низком старте.».

Она сразу перезванивает.

— Олесь, куда ты собралась? Там же война! Ты хоть понимаешь, что там стреляют!

— Понимаю. Но у меня там дом, там отец жил. Там моя родина.

— И ты всё равно едешь?

— Еду.

— Зачем?!

Я закрываю глаза. И вижу папу.

Он сидит в нашем старом доме у печки, курит свою «Приму», рядом стоит чашка с растворимым кофе. И он улыбается. Он всегда улыбался, даже когда заболел, даже когда врачи сказали, что шансов нет.

— Лиль, я не знаю, зачем. Но там мой дом. Единственное, что осталось. А здесь — ничего. Ни мужа, ни работы, ни будущего. Здесь, я никому не нужна. А там…

— Ты акушер-гинеколог! Ты нужна здесь! Какие роды на войне? Там мужики с автоматами.

— Женщины и на войне рожают.

— У тебя кажется, фельдшерское образование было?

— Да. Я в студенчестве в скорой работала. Так что не пропаду

— Олесь… — она всхлипывает. — Пожалуйста, будь осторожна. И пиши мне. Каждый день.

— Обещать ничего не буду. Говорят, там со связью беда.

Но я постараюсь.

Кладу трубку.

Завожу машину. Выезжаю на трассу.

Я еду на юг. Туда, где отец построил дом для мамы. Где он хотел, чтобы мы жили все вместе. Где я не была тринадцать лет.

Что меня ждёт?

Я не знаю.

Война? Разруха? Пустота?

Всё, что угодно, лишь бы не это. Лишь бы не Вадим. Не Карина. Не клиника, где я стала чужой.

Навигатор показывает: 1800 километров.

Дорога долгая. Но я никуда не спешу, ведь меня никто там не ждёт.

И это, наверное, самое страшное и самое освобождающее, что было в моей жизни.

Я еду в никуда. Но это никуда — теперь моё.

Поворачиваю на трассу, нажимаю на газ.

Прощай, прошлая жизнь.

Здравствуй, неизвестность.

Я готова.

4.

Дорога пролетела быстрее, чем я думала, может, потому что я почти совсем не спала. Может, потому что каждые сто километров я прокручивала в голове один и тот же вопрос: «Правильно ли я поступила?»

Ответ всегда был одинаковым: “А был ли выбор?”

Когда отец был жив, он часто мне говорил, что у любого человека всегда есть выбор, поступить правильно или по совести.

Я ехала молча. Без музыки. Без аудиокниг. Только гул мотора и мои мысли, которые роились, как пчёлы перед бурей.

Останавливалась только на заправках. Кофе — в термос, бутерброды — с собой, бензин — полный бак. Спала в машине, откинув сиденье. Просыпалась от каждого шороха. Просматривала телефон, несколько сообщений от мужа, который стирала, даже не посмотрев. Звонки от него же – сбрасывала. Вырубала телефон и снова держала путь на юг.

В зеркалах заднего вида всё время казалось, что кто-то догоняет. Вадим или его мама. Или мачеха Карина — чтобы плюнуть в след.

Но нет. Дорога сзади была пуста, лишь редкие машины иногда обгоняли меня, выводили из транса и помогали двигаться дальше.

Через сутки с небольшим я медленно въезжаю в област-

ной центр.

Здесь всё изменилось. И ничего не изменилось одновременно. Я здесь не была с момента смерти отца.

Те же улицы, те же дома. Но воздух другой. Пахнет гарью, пылью и чем-то ещё — тем, что не описать словами. Где-то далеко, на окраине, слышны глухие взрывы. От этих звуков, становится тяжело дышать, сердце начинает биться сильнее. Но те, кто здесь живёт, уже научились их не замечать.

Я проезжаю мимо родного училища, где училась на акушерку. Теперь в окнах — плёнка крест-накрест. На дверях — листки с маркировкой подвала: «Укрытие».

Проезжаю мимо роддома, где принимала первые роды. Там сейчас, говорят, развернули полевой госпиталь. Сердце учащенно ёкает и я сжимаю руль крепче. Не отвожу взгляда от старого здания, где судя по всему, я буду работать. Да… именно тут. Похоже, все это время, что я работала в Москве, я практиковалась для того, чтобы однажды вернуться сюда, чтобы спасать жизни.

Проезжаю мимо парка, где мы целовались с моим первым парнем. Там теперь мешки с песком.

Я закупаюсь продуктами на небольшом рынке. Мука, крупы, тушёнка, спички, соль, сахар, вода. Всё, что может пригодится в ближайшее время. Аптечка у меня своя — лежит в багажнике. Скальпели, шовный материал, антибиотики, перевязочное — всё, что удалось вынести незаметно. Когда убегала из клиники, решила захватить то, что мне может

пригодится. Вадим бы не разрешил. Но Вадима здесь нет и слава Богу.

Я сворачиваю из города в сторону небольшого посёлка, где родилась. Того самого, где жили мои дед с бабушкой, а потом и я с родителями. Где я не была двенадцать лет, с тех пор как переехала в Москву.

На дворе весна. На юге она приходит рано — в конце февраля уже пахнет теплом, земля отходит, почки набухают. Я опускаю стекло и вдыхаю этот запах. Домашний. Родной. Тот, который не перепутаешь ни с чем.

Отец уже не увидит этой весны.

Он умер два года назад, в больнице. Я слишком поздно узнала о том, что у него резко случилось обострение. Карина молчала, жила набегами в Москве и на юге. Звонок из больнице пошатнул мой мир и я буквально упала на рядом стоящий стул.

– Олеся Алексеевна, ваш отец умирает. Он хотел бы попрощаться с вами. Вас ждать?

– Еду! - выкрикнула я и побежала из кабинета. Наткнулась на Вадима.

– Куда? Какая поездка? С ума сошла. У тебя операция завтра, успеешь ещё на похороны.

– С ума сошел! Это мой отец.

– Дернешься, уволю, – схватил меня за руку и дернул.

– Вадим, побойся Бога. Мой отец умирает, отпусти меня.

Он тогда сжалился и отпустил. Но я… все равно не успела.

Оказалось, что Карина знала о состоянии отца, но ничего мне не говорила. Сука.

Мой отец умер один, в больнице среди чужих людей и рядом с ним никого не было.

Я до сих пор не могу себе этого простить.

Но теперь я здесь. И я обещаю себе — больше никогда не ставить чужого человека выше тех, кого люблю.

Дорога становится хуже. Асфальт кончается, начинается щебенка. Потом, колдобины.

И на въезде в район — блокпост.

Двое военных. Молодые, уставшие. Стоят с автоматами, бронежилетах и касках. Я опускаю стекло, и тёплый весенний ветер врывается в салон.

— Документы, — говорит тот, что с усами.

Я протягиваю паспорт и медицинское удостоверение.

Он смотрит. Переворачивает страницы. Подносит к свету фонаря. Переглядывается со вторым.

— Олеся Алексеевна… Германова. Врач? Акушер-гинеколог? – ухмыляется он и закрывает документы.

— Да. Я здесь родилась. Еду домой. Посёлок Берёзовка.

Второй военный качает головой.

— Нет там никого. Эвакуировали всех два месяца назад.

Сердце пропускает удар. Потом бьётся чаще.

— Как — никого? А дом на въезде, старый, с зелёной крышей и крыльцом.

— Посёлок в серой зоне, — говорит военный. — До фронта три километра. Там каждый день прилетает. Мы оттуда всех вывезли.

— А дом?

— Стоит наверно. В любом случае, туда нельзя.

— Мне нужно, – шепчу я, сглатывая слезы.

Они смотрят на меня, как на сумасшедшую.

— Вы новости смотрите? — спрашивает тот, что с усами. — Там война.

— Мне нужен мой дом, — говорю я нервно, стараясь держать себя в руках. — Там всё, что у меня осталось от отца

Они переглядываются.

— Через час приезжает сменщик. Можно с ним попробовать договориться. А свою машину оставь здесь. Если пустят — поедешь на бронированной.

Я выключаю двигатель и выхожу.

Весеннее солнце греет спину. Пахнет полем и чем-то горьким — то ли дымом, то ли прошлым.

Я стою, смотрю на дорогу, которая ведёт в посёлок. Туда, где за этими деревьями стоял мой дом. Где отец с матерью много лет назад посадили грушевый сад.

— Прости меня, папа, — шепчу я. – Прости, что приехала слишком поздно.

5.

Через сорок минут подъезжает бронированный Урал. Из кабины выпрыгивает мужик — лет шестидесяти, с проседью в бороде и весёлыми глазами.

— Кто тут у нас врач? — оглядываясь, спрашивает.

— Я, — делаю шаг вперёд.

— Олеся, значит? — он протягивает руку. — Сергей Иванович. Я тут за снабжение. И за дураков, которые хотят в зону прилёта за тапками.

— Я домой еду, – цежу сквозь зубы и с яростью смотрю на мужчину. Сил нет, спина раскалывается, ноги онемели за сутки езды. Я хочу есть и спать и точно не общаться с такими юмористами. – Не за тапками.

— Знаю. Мне ребята рассказали. Дом твоего отца Одинцова? Алексей Ивановича?

— Вы его знали?

Он вздыхает, смотрит куда-то в сторону.

— Кто ж его не знал? Своими руками дом построил, сад посадил. Царствие ему небесное.

У меня что-то сжимается в груди. Чужой человек помнит моего отца. А я… тринадцать лет не было в доме моего отца.

— Ладно, — Сергей Иванович хлопает по борту Урала. — Довезу. Пятнадцать минут. Не больше. Осмотришь дом, возьмёшь что нужно — и обратно.

— Мне много не надо, – радостно заявляю и хочу руки расцеловать этому снабженцу. – Икону только мамину заберу и кое-какие папины вещи.

— Садись, непутевая, – ласково произносит. – Только на, вот, бронежилет надень и каску. Без этого не пущу!

Я смотрю на бронежилет, провожу пальцами по шершавой ткани, и вдруг меня накрывает.

Двадцать лет назад. Мне десять, я сижу на кухне, пью чай с малиновым вареньем, а папа, ещё молодой, без седины, сильный, рассказывает, как вернулся с первой чеченской.

— А бронежилет, Олеська, спас мне жизнь, — он тогда стянул футболку и показал на синяк под ключицей, огромный, фиолетовый, как спрут. — Осколок в грудь. Бац! Навылет бы прошил. А жилет принял. И я остался жив, чтобы приехать домой и обнять мою девчушечку.

И он обнимает меня так крепко, что я чувствую его запах — табак, бензин, и что-то родное, отчего в горле ком. А потом мама заходит с пирогами, смеётся и говорит:

— Хватит детей страшилками пугать. А папа подмигивает мне и шепчет:

— Не страшилка это, дочка. Это любовь, которая бронежилет надевает. Я тогда не поняла эту фразу. Совсем.

Думала — ну как любовь может надевать бронежилет? Любовь — это цветы, поцелуи, тёплые слова перед сном. А бронежилет — это война, страх, тяжесть.

Я ошибалась.

Любовь — это когда ты готов надеть на себя эту тяжесть, чтобы тот, кто у тебя за спиной, остался жив. Любовь — это когда мама плачет на кухне, но не просит папу уйти со службы. Потому что знает: он не может иначе. Любовь — это когда папа идёт под пули, но каждую ночь звонит и говорит: «У меня всё хорошо, спи, дочка».

А сейчас я надеваю бронежилет. Чужой, пахнущий пылью и потом. И мне кажется, что папа смотрит на меня и улыбается. Наконец-то поняла, дочка.

Да, пап. Кажется, поняла.

Дорога в посёлок занимает десять минут, за которые я старею на десять лет.

Сгоревшие дома. Воронки, похожие на глубокие раны. Остановка, где мы с папой ждали автобус. Школа, где я училась. У неё нет крыши.

— Держись, — говорит Сергей Иванович, объезжая очередную воронку.

А потом я вижу дом. Слава Богу, цел.

Зелёная крыша. Белые стены. Сад, который посадил когда-то папа весь зарос.

Я выскакиваю, даже не дождавшись полной остановки.

— Пятнадцать минут! — кричит мне в спину Сергей Иванович. — И не смей плакать! Потом наплачешься!

Я и не плачу. Бегу к родному дому, который пахнет детством, отцом и второй весной, которая пришла без него.

Земля под ногами мягкая, весенняя, в ней увязают крос-

совки. Деревья, еще голые, но почки вот-вот проклюнутся. Папа всегда говорил: «В марте яблони просыпаются. Если успеешь увидеть — повезёт».

Я не видела этот сад тринадцать лет. И теперь, кажется, снова не успеваю.

Дверь в дом не заперта. Ручка холодная, но податливая. Я толкаю — и захожу внутрь.

Тишина.

Пахнет деревом, пылью и чем-то ещё. Знакомым. Папиным табаком. Он курил «Приму», и этот запах солдатских сигарет въелся в стены навсегда.

Я стою в прихожей и не могу двинуться.

Вот вешалка, где висела его куртка. Пусто.

Вот тумбочка, где лежали ключи и зажигалка. Пусто.

Вот половик, который мама вышивала ещё до моего рождения. Он здесь. Потёртый, в пятнах, но здесь.

Я делаю шаг, еще один.

Комнаты пустые, здесь больше нет жизни. Только мебель осталась — старый провалившийся диван, буфет с фарфоровыми слониками, папино кресло у окна. На столе — чашка. Засохшая заварка на дне.

У меня перехватывает горло.

Он сидел здесь. Пил чай. Смотрел в окно на свой сад. И ждал, наверное. Ждал меня. А потом, его увезли в больницу.

— Прости, папа, — шепчу я. — Я так виновата перед тобой.

Слёзы подступают, но я их глотаю. Сергей Иванович сказал — не плакать. Наплачусь потом. Сейчас нет времени.

Я иду дальше. В комнату отца.

На кровати — аккуратно заправленное одеяло, на подушке — вмятина. Как будто он только что встал и вышел. И сейчас вернётся.

Икона — над кроватью. Божья Матерь. Та самая, с которой мама не расставалась. Я снимаю её, заворачиваю в полотенце, кладу в рюкзак.

В шкафу — папины вещи. Куртка. Старая, потёртая, но ещё крепкая. Я беру её. Одеваю на себя и вдыхаю такой забытый запах табака и бензина. В кармане — что-то твёрдое. Зажигалка. Та самая. Я сжимаю её в кулаке. Одеваю на голову шапку-ушанку защитного цвета.

– Папочка, – шепчу я, даже не пытаясь остановить горькие слезы.

На столе — фотография. Мы втроём: мама, папа и я. Мне три года, я сижу у папы на плечах. Он смеётся. Мама обнимает нас втроем и улыбается.

Забираю.

Всё с собой.

Я уже собираюсь выходить, когда слышу звук.

Сначала я думаю — показалось. Но потом звук повторяется. Ближе… еще ближе. Тяжёлые шаги. Несколько пар кирзовых сапог.

Я замираю. Сердце стучит как бешеное, готовое вырвать-

ся из груди.

Сергей Иванович не мог вернуться — он ждёт снаружи. В посёлке никого нет. Все эвакуированы, так мне сказали. Неужели ошиблись!

— Есть кто? — доносится с улицы. Голос чужой, жёсткий.

Я не успеваю ни спрятаться, ни ответить. Верчу головой, как мельница, а ноги словно вросли в пол.

Ну все, Олеська, ты пропала.

Дверь распахивается.

В прихожую влетают трое. В камуфляже, с автоматами, направленными прямо на меня.

— Стоять! — рявкает тот, что впереди. — Стоять, я сказал! Руки вверх!

6.

Я поднимаю руки: в одной сжимаю папину зажигалку. В другой держу рюкзак с маминой иконой. Шапка сползает на глаза.

Сердце колотится где-то в горле. Лоб покрывается холодным потом.

— Я… я врач, — говорю я как можно спокойнее. — Я приехала за вещами отца. Это его дом.

Первый — молодой, злой, с автоматом наизготовку. Второй — постарше, с погонами, настороженный.

И третий.

Третий — другой.

Он обходит военных мягко, бесшумно, как хищник. Широкий в плечах, выше меня на голову, а то и на две. Лицо суровое, обветренное, с резкими скулами и тяжёлым подбородком. Чёрная борода с проблесками седины — он похож на большого медведя. На нём военная форма без знаков отличия, но осанка выдает командира. Так двигаются только те, кто привык, чтобы ему подчинялись.

Безоговорочно.

— Вольно, парень, — его голос низкий, спокойный, не терпящий возражений. — Ты кто и откуда?

— Я не парень, я… — голос выдаёт мой страх, но что я могу сделать, не каждый день на тебя направляют дуло авто-

мата.

— Тихо.

Он делает шаг ко мне. Плавно… бесшумно. Я даже не слышу его дыхания и от этого на руках поднимаются тонкие волоски.

Одним движением вояка сдёргивает с моей головы шапку-ушанку и она падает мне под ноги. Волосы рассыпаются по плечам и он шумно принюхивается. Как зверь. Быстро, коротко, вбирая запах.

Мне ничего не остается, кроме как сделать судорожный вдох. И я делаю. От него пахнет дымом, порохом — и чем-то неожиданно чужим здесь, среди оружейной смазки и старой древесины. Мятным. Конфеты, что ли?

Мужчина властно поднимает мой подбородок двумя холодными пальцами и смотрит в глаза. Чуть сощуривается и я вижу десятки морщин, что облепляет его глаза. Или он часто улыбается, хотя судя по внешности и тем, чем он занимается, скорее нет, чем да. Или смотрит на солнце.

В его взгляде — никакой жестокости и никакой жалости. Только оценка. Он как будто решает, кто перед ним: враг, свидетель или обуза.

От одного его касания у меня подгибаются колени. Он выше меня. Больше. Сильнее. Раза в два. И чувствуется в нём что-то такое, отчего хочется подчиниться — или убежать.

Ни то ни другое я не могу.

— Приехала сюда, — говорит он ровно, не отпуская моего

лица, — значит, воюй или лечи. Третьего здесь не дано.

Я машинально киваю и автоматом замечаю то, что придает мне силы. Я вновь осознаю кто я и что здесь делаю. Я врач, а это значит, кроме помощи в рождении детей, я могу спасать жизни. И этого у меня не отнять.

Позади него, у двери, маячит ещё один боец. Придерживает руку — через грязные тряпки проступает кровь. Не сильно, но обработать надо.

Я перевожу взгляд с медведя на раненого, потом обратно.

— Аптечка в машине осталась, — говорю я севшим голосом. — Мне нужно…

— Ищи в доме, — перебивает он. — Если это и правда твой родной дом, тогда ты должна знать, что твой отец должен был что-то оставить.

Я смотрю на него. Откуда он знает? Кто он вообще такой?

— Фан… — начинает тот, что у двери.

— Молчать, — бросает медведь, и голос его — как удар плетью.

Боец замолкает. Даже дышать перестаёт.

Медведь делает шаг назад, отпуская меня из захвата своего взгляда.

— Ищи, — повторяет он. — Раненый ждать не будет.

Я снова киваю, снимаю куртку отца и начинаю искать.

Я мечусь по дому. Открываю шкафы, заглядываю под кровать. Руки дрожат, но я заставляю себя успокоиться.

Я — врач. Это моя работа. Не важно, что вокруг война.

Не важно, что только что какой-то вояка смотрел на меня так, будто взвешивал, жить мне или нет.

Военная аптечка находится в комоде, в спальне, под стопкой старых простыней. Отцовский НЗ. Зелёный рюкзак с красным крестом, на котором ещё сохранились следы той войны — чеченской, первой.

Разворачиваю. Достаю перекись, бинты, жгут. И улыбаюсь, словно нашла мешок с шоколадными конфетами.

— Садитесь, — говорю раненому, кивая на табурет. — Показывайте руку.

Он садится. Я убираю грязные тряпки. Рана глубокая, но края чистые — повезло, заражения нет. Промываю. Зашиваю на живую. Боец молча переносит боль, на лице ни одной эмоции. Сильно. Дальше быстро перевязываю. Вся работа занимает несколько минут.

Медведь стоит в дверях, скрестив руки на груди, и наблюдает. Я чувствую его взгляд спиной — тяжёлый, изучающий.

— Руку береги, — говорю бойцу, затягивая узел. — Три дня не напрягай.

— Спасибо, доктор, — кивает он. Смотрит с уважением. Или с удивлением — что эта пигалица, которую он держал на прицеле десять минут назад, работает как в операционной.

Я складываю бинты обратно в аптечку.

— Может, кому-то еще помощь нужна? — спрашиваю, ни к кому не обращаясь.

Тишина.

Главный вояка усмехается. Тяжёлая, короткая усмешка — скорее выдох.

— Значит, говоришь, приехала в дом отца?

Я киваю и ощущаю, где-то в глубине души, что этот командир, этот медведь знал моего папу.

– Если ты дочь офицера Одинцова, значит тебя зовут Олеся..

Я поднимаю голову, прижимая аптечку отца к груди.

— Вы знали моего отца?

Командир не отвечает. Смотрит на меня — долго, внимательно, как на карту перед боем.

— Знал, — говорит наконец. — В больнице в райцентре нужны врачи. Возвращайся в спокойное место. Здесь слишком шумно и опасно для таких неженок, как ты.

— Я не неженка, — оскаливаюсь я, вздёрнув подбородок.

— Правда? — он делает шаг в мою сторону. Теперь между нами меньше метра. Он нависает, загорая свет из окна. От него пахнет порохом, дымом и той самой мятой.

Я не отступаю. Смотрю снизу вверх, чувствуя, как бешено колотится сердце.

— Правда, — выдыхаю я.

Он наклоняется ближе. Так близко, что я вижу крошечные морщины у его глаз и шрам над бровью.

— Тогда докажи, — говорит он тихо, почти шёпотом. — Завтра в шесть утра. Выход на позиции. Будут раненые. А сейчас, марш отсюда!

7.

Я вылетаю из дома, не помня себя. Ноги несут к машине, дыхание сбитое, в ушах пульсирует кровь. В голове всё ещё стоит этот низкий голос и его приказ: «Марш отсюда!»

И его глаза. Тяжёлые. Изучающие. От которых хочется провалиться сквозь землю или, наоборот, доказать, что я не та, кем он меня считает.

«Неженка».

Идиот. Медведь лохматый. Он ведь даже не знает меня.

— Ну как? — кричит Сергей Иванович из кабины Урала, щурясь на солнце.

— Едем обратно, в больницу! — бросаю на ходу, не останавливаясь.

— Смотри там! — его голос догоняет меня уже у дверей машины. — Не геройствуй!

Я не отвечаю. Прыгаю на сиденье и захлопываю дверь. Смотрю на дорогу и думаю об одном: кто этот Фан? Вероятно это его позывной? Но откуда он знал моего отца?

Фан. Коротко, резко. Как выстрел.

Я прокручиваю в голове каждое его слово. Каждое движение. То, как он сдёрнул с меня шапку. Как принюхивался — по-звериному, быстро, жадно. От него пахло мятными конфетами. Это было так неожиданно, так странно для человека, от которого разит порохом и дымом.

Я не понимаю, почему меня это зацепило. Почему я до сих пор чувствую его пальцы на своём подбородке — холодные, шершавые, властные.

Трясу головой, прогоняя наваждение.

Дорога до райцентра — двадцать минут ада. Колеи, ямы, сгоревшая техника на обочинах. Где-то вдалеке слышны разрывы — глухие, нестрашные, похожие на грозу. Я не смотрю по сторонам. Не хочу видеть войну. Хочу просто добраться до места и забыть. Забыть этого медведя.

Больница встречает меня знакомым запахом.

Я думала, как медик, меня уже ничем не проймёшь. Как же сильно я ошибалась.

В нос бьёт смесью мочи, грязных бинтов, йода и человеческого страха. А еще чего-то сладковато-гнилостного, от чего желудок подкатывает к горлу.

Коридоры забиты больными. Люди на носилках, на матрасах на полу, просто на газетах. Раненые, старики, женщины с детьми. Ребёнок лет пяти сидит в углу, обняв плюшевого зайца, и смотрит в одну точку пустыми глазами.

Я останавливаюсь посреди этого ада и меня накрывает.

Здесь нет стерильных кабинетов и улыбчивых медсестёр. Здесь нет моего УЗИ-аппарата и дорогого геля. Здесь война… настоящая, неприкрытая война.

… а где-то там, в разрушенном посёлке, этот медведь с мятным запахом готовит своих бойцов к выходу на позиции.

«Завтра в шесть утра. Выход на позиции. Будут ране-

ные».

Я обещала быть и я буду, не смотря ни на что. Чтобы доказать этому командиру, что я не неженка.

— Вы к кому? — ко мне подходит женщина в заляпанном кровью халате. Уставшая, седая, с тёмными кругами под глазами. Лицо её кажется знакомым — такие лица бывают у тех, кто слишком долго видел смерть. — Я Елена Викторовна. Старшая медсестра. Я могу помочь?

— Я врач, — говорю я, протягивая удостоверение. — Акушер-гинеколог. Приехала помочь.

Она даже не смотрит на документы. Только на мое лицо. Секунду или две.

— Пошли. Роженица умирает, — говорит она и хватает меня за руку сильно, почти больно. — Срочно, в операционную. Тазовое предлежание. Уже два часа мучается.

— Погодите, я… — хочу сказать, что я голодная, что я не спала сутки, что я воняю так, словно сама проработала в этой больнице, что меня тошнит от запаха и что я хочу в душ.

— Некогда, — Елена Викторовна уже тащит меня за собой по коридору. — Девок у нас нет, одни хирурги, они только резать умеют. А у тебя бабья специальность. Пошли! Быстро!

Меня переодевают за две минуты. Моют руки антисептическим мылом. Халат велик, перчатки не моего размера, но это мелочи. Я захожу в операционную.

Вдруг вспоминаю Фана.

Его слова:*«Здесь слишком шумно и опасно для таких неженок, как ты.»*

Интересно, где он сейчас? Спит? Или уже не спит, потому что на войне не до сна? Я думаю о его руках. Больших, грубых, сильных. Которые умеют обращаться с оружием, но не с женщинами. Каково это — быть прижатой к стене такими руками? Каково это быть обласканной таким мужчиной?

Прекрати, Олеся. Ты здесь не для этого.

В операционной на столе – женщина. Молодая, лет двадцать пять, лицо белое как простыня, губы синие. Медсестра суетится у капельницы. Пульс едва прощупывается.

Хирург — пожилой мужчина с нервным тиком, в заляпанном фартуке — бросает на меня короткий взгляд. Оценивает, но ничего не говорит, видимо понимает, раз я в халате - значит врач.

— Тазовое предлежание. Кесарить надо. Лекарств нет на такое, но как-нибудь выкрутимся.

— Нет, — строго говорю я, понимая, что нужно делать.

Он поворачивается ко мне. На лбу — капельки пота, по вискам тоже стекают тонкие струйки.

— Не понял!

8.

— Дайте мне попробовать перевернуть.

— Ты охренела? — хирург даже не смотрит на меня. Он вливает в капельницу что-то из ампулы, не глядя на этикетку. В его голосе — усталость человека, который видел слишком много смертей. — Посмотри на неё. Пульс сорок, тоны глухие, сатурация восемьдесят. У неё нет сил тужиться. Сердце встаёт на ходу. Ты хочешь её поворачивать? Убьёшь нахер.

— Но ребёнок, — шепчу я.

— Ребёнок уже мёртв, — бросает он коротко. Голос — как острый нож. — Постнатальная асфиксия. Мне полчаса назад надо было резать, а теперь — запоздалый пердёж.

Он поворачивается ко мне. Глаза красные, руки в крови по локоть.

— Ты сколько лет работаешь?

— Восемь. Пять в роддоме, три в частной клинике, — отвечаю я, глядя ему в глаза.

Он усмехается. Зло. Горько.

— И за восемь лет не научилась слышать, когда говорят «поздно»?

— А вы за свои… сколько? Двадцать? Тридцать? — рявкаю от злости и не отвожу взгляда. — Научились слышать, как ребёнок шевелится, когда мать уже без сознания?

Он молчит.

— А я вот слышала, — говорю тихо. — Он живой. Дай мне минуту.

Перехожу на «ты» не потому, что забыла, где нахожусь. А потому, что сейчас нет времени на этикет. И потому, что я — тоже врач. И ребёнок внутри дышит и шевелится. Я чувствую. А ему… этому... ему плевать.

Елена, старшая медсестра, смотрит на хирурга. Тот молчит. Потом отходит к стене, прислоняется плечом к грязной плитке.

— Делай, — бросает он устало. — Всё равно терять нечего.

Я берусь за живот.

Руки помнят всё. Восемь лет практики. Тысячи животиков, сотни поворотов. Но никогда — в военной больнице. Никогда — без нормального УЗИ. Никогда — когда на кону две жизни.

— Мамочка, — шепчу я, наклоняясь к её лицу. Она бледная, губы почти синие. — Милая, ты меня слышишь?

Женщина открывает глаза. Мутные, почти невидящие. Зрачки расширены. Она теряет сознание, я чувствую это.

— Я сейчас попробую перевернуть твоего малыша. Но ты должна мне помочь. Даже если будет больно. Ты сможешь?

Она кивает. Едва заметно. Губы шевелятся, но звука нет.

Я берусь за живот.

Закрываю глаза на секунду. Вспоминаю своё первое де-

журство. Как боялась. Как дрожали руки. Как старшая акушерка сказала мне: «Руки не должны бояться, Олеся. Они помнят больше, чем твоя голова».

Я верю в свои руки. Они спасли десятки жизней.

Акушерка подаёт мне гель. Тёплый, жидкий. Я наношу на пальцы, слушаю, чувствую пальцами. Раскрытие совсем маленькое.

Ребёнок сидит плотно. Попка внизу. Ножки поджаты к животу. Головка — вверху, упирается в рёбра.

Начинаю поворот. Медленно. Аккуратно. По правилам — наружный акушерский поворот. Делаю это так, как учили: сначала таз, потом плечики, потом головка.

— Мамочка, терпи. Глубоко дыши. Не кричи… просто дыши.

Она стонет сквозь зубы, громко дышит и терпит… терпит не смотря ни на что.

Мне кажется, что в этот момент я слышу голос Фана: «Приехала сюда — воюй или лечи».

Я лечу. Я справлюсь.

Я чувствую, как внутри движется маленькое тело. Головка идёт туго, упирается в стенку матки. Я не тороплюсь. Каждое движение — как по натянутой струне. Пот стекает по лицу. Я не могу вытереть — руки в геле.

Киваю медсестре, она понимает меня и полотенцем вытирает пот. Я благодарно киваю.

В операционной тихо. Хирург замер за моей спиной, не

дышит. Сестра отошла и вновь застыла с капельницей. Елена Викторовна сжимает локоть роженицы, считает пульс.

И тут… есть! Бинго!

Головка встала на место. Поворот завершён.

— Слава богу, — выдыхает акушерка, воздев руки к потолку.

Я слышу облегчение в её голосе, но я не расслабляюсь. Я поднимаю глаза на монитор.

И сердце падает в пятки.

Давление — восемьдесят на сорок. Пульс — нитевидный, едва уловимый. Я вижу, как ровная линия на мониторе начинает плыть.

— Что с ней? — кричит хирург, подходя.

Я не отвечаю.

Потому что в моей голове одно: она уходит. Прямо сейчас. Прямо на моих руках. Кровотечение? Эмболия? Отслойка? Я не знаю. У меня нет ни УЗИ, ни анализов, ни времени.

Монитор пищит отчаянно, неумолимо.

— Сердце! — кричит Елена Викторовна.

Я смотрю на её лицо — бледное, почти прозрачное. Губы уже не синие — серые. И понимаю: либо мы теряем их обеих, либо я режу сейчас, немедленно, без наркоза, без ничего.

И в этот момент ребёнок внутри шевелится.

Первый раз за всё время.

Сильно. Резко. Как будто говорит: «Я здесь. Я живой. Не смей меня хоронить».

Я сжимаю зубы и тянусь за скальпелем.

— Готовьте кесарево. У нас три минуты. Максимум.

— Но наркоза нет, — хрипит хирург.

— Будет местная. Времени на спинальную анестезию нет. Она уходит.

Медсестра подаёт мне скальпель.

Я смотрю на женщину. Она сама не дышит. Только аппарат качает воздух.

— Милая, — шепчу я. — Ты не умрёшь. Слышишь? Я тебе не позволю. У тебя внутри маленькая жизнь. И она будет жить. И ты будешь жить. Потому что я так сказала.

Я делаю разрез.

Кожа. Подкожная клетчатка. Матка.

В голове — пустота. Только руки работают. И где-то на периферии — голос Фана. Его усмешка. Запах мятных конфет.

«Завтра в шесть утра».

Я успею. Я должна успеть.

Ребёнок идёт туго. Плацента низко, путается под руками. Я действую быстро, почти вслепую.

— Ещё секунду, маленький, — шепчу я. — Ещё одну секундочку.

Я вижу головку. Маленькую, тёмную, мокрую. Хватаю, тяну осторожно.

И в этот момент монитор издаёт долгий, сплошной писк.

Прямая линия.

— Сердце остановилось! — кричит медсестра.

Я поднимаю глаза.

Женщина не дышит.

Я смотрю на ребёнка — он наполовину вышел.

И у меня есть пять секунд, чтобы решить, чью жизнь спасать первой.

9.

— Елена, массаж сердца матери! Живо! — я не узнаю свой голос, он как удар плетью. Не помню, чтобы в частной клинике, я вела себя подобным образом. А здесь, словно и не я вовсе.

Я вытаскиваю ребёнка.

Маленький. Синий. Весь в смазке и крови. Не дышит. Не кричит. Глаза закрыты. Пуповина туго обмотана вокруг шеи — вижу, когда перерезаю.

— Вы, — киваю хирургу, — зашивайте матку. Я забираю ребёнка.

Хирург поднимает на меня глаза. Секунду смотрит так, будто хочет сказать: «Ты охренела?»

Но потом его лицо меняется. Одно короткое движение головы.

Он кивает. Берёт иглодержатель. Его руки, ещё минуту назад дрожащие, теперь двигаются чётко, без лишних движений. Профессионал. Всё-таки профессионал, хоть и сгоревший дотла.

Я отхожу к пеленальному столику с ребёнком на руках.

Ржавый, шаткий, покрытый трещинами — но другого нет.

Кладу малыша. Отсасываю слизь изо рта и носа резиновой грушей. Маленькая грудка не поднимается. Не дышит. Слушаю сердце… тишина.

— Давай, — шепчу я, наклоняясь к его лицу. — Давай, маленький. Ты шевелился там. Я чувствовала. Ты хотел жить. Не смей сдаваться теперь.

Начинаю непрямой массаж сердца. Двумя пальцами — надавливаю на грудину. Быстро. Ритмично.

Раз-два-три-четыре.

Грудная клетка проминается под пальцами — хрупкая, маленькая, как птенец.

— Пульс матери? — кричу через плечо, не останавливаясь.

— Сорок, — отвечает Елена. Голос у неё ровный, как у робота. Она ритмично нажимает на грудную клетку роженицы — раз-два-три-четыре. — Держится. Сорок два. Давление прощупывается.

— Кислород дайте ребёнку!

— Нет для него, — бросает хирург, не поднимая головы. Он уже ушивает матку — крупными стежками, быстро, но аккуратно. — Маленькие баллоны кончились вчера. Последний — на материнском аппарате. Если отключить — она умрёт.

У меня нет слов. Нет времени на слова. В голове только маты.

Продолжаю массаж. Десять нажатий — один вдох «рот в рот». Обхватываю губами крошечный нос и рот. Вдыхаю. Грудная клетка поднимается. Опускается. Сама — нет.

— Есть пульс у матери! — кричит Елена. В её голосе

впервые проскальзывает что-то живое. — Сто на шестьдесят, медленный, но есть.

— Держите её, — командую я, не оборачиваясь. — Не дайте уйти во второй раз.

Ребёнок не дышит сам.

Пять секунд массажа. Десять. Пятнадцать.

Я смотрю на его синее лицо, на запавшие рёбра, на беспомощно раскинутые ручки. И внутри меня что-то кричит: «НЕТ!».

— Ну же! — рычу я, почти по-звериному. — Я знаю, что ты там есть. Я чувствовала тебя, слышишь? Ты толкался! Ты хотел жить! Не смей умирать на моих руках!

Ещё два нажатия. Ещё вдох.

Ещё.

И вдруг… всхлип.

Тоненький, жалобный, непохожий на крик. Похожий на котёнка, которого бросили в холод.

А потом — крик.

Настоящий. Громкий. Требовательный. Так кричат только те, кто только что понял, что жить — это больно и обидно, но он всё равно будет жить.

Грудная клетка поднимается сама. Первый самостоятельный вдох.

— Аа-а-а-ах ты маленький засранец, — выдыхаю я, и слёзы наворачиваются на глаза. Они текут по щекам, я даже не пытаюсь их вытереть. — Ты живой! Живой!

Я поднимаю его. Маленького. Скользкого. Тёплого. Теперь он розовеет на глазах — сначала уши, потом щёки, потом весь.

Прижимаю к себе. Он орёт, размахивает крошечными кулачками, краснеет от натуги. Пуповина уже перетянута, но кровит ещё немного — это ничего, это пройдёт.

— Неси к матери, — говорит хирург устало. Он уже закончил ушивать. Смотрит на меня из-под набрякших век. — Пусть лежит рядом. Стимулирует лактацию и… и сердце. Тёплый контакт.

Я кладу ребёнка на грудь женщины. Та ещё без сознания — веки тяжёлые, дыхание поверхностное. Но тело реагирует. Рука сама тянется к малышу, придерживает. Пальцы слабые, почти не чувствуется, но они держат.

— Молодец, — шепчу я ей, наклоняясь к самому уху. — Ты молодец. Ты справилась. У тебя сын. Крепкий. Орущий. Живой.

Она не отвечает. Но уголок губ чуть-чуть поднимается.

Или мне кажется.

Елена Викторовна отходит от стола. Вытирает лоб тыльной стороной ладони. Смотрит на меня. В глазах — уважение и счастье.

— Ты как, милая? Спасительница наша, – ласково произносит и я улыбаюсь.

— Нормально, — выдыхаю я и киваю, – все просто замечательно. Адреналин отступает, и мои ноги подкашиваются.

Я не успеваю ни за что схватиться. Просто оседаю на пол — прямо в лужу крови, которая натекла за время операции. Прислоняюсь спиной к холодной стене. Закрываю глаза на секунду.

— Эй, — зовёт хирург. — Ты живая там?

— Живая, — отвечаю я, не открывая глаз. — Просто… просто передохну минуту.

Руки трясутся.

Мелко, противно, неконтролируемо. Я сжимаю их в кулаки, но это не помогает. Зубы тоже дрожат — то ли от холода, то ли от адреналина, который схлынул так же резко, как и нахлынул.

«Приехала сюда — воюй или лечи».

Я полечила. Сегодня — полечила.

Спасла две жизни, теперь ты доволен, командир?

Хорошие мои, еще одна новинка нашего Литмоба!
Развод. Реанимация
https://litnet.com/shrt/rwF6


СОВРЕМЕННЫЙ
ЛЮБОВНЫЙ
РОМАН
ЮЛ
КРЫ

10.

Я не помню, как встаю с пола.

Не помню, как Елена подхватывает меня под локоть — её руки сухие и горячие, как печка. Не помню, как хирург что-то говорит про шок и адреналин. Слова долетают откуда-то издалека, как сквозь толщу воды.

— Я в порядке, — слышу я свой севший голос. А быть может не свой, а чужой. — Я в норме.

Выхожу из операционной и подхожу к раковине.

Включаю кран, подставляю ладони. Красная вода течёт с моих рук — чья-то жизнь, разбавленная водопроводной ржавчиной. Смываю. Смываю. Смываю.

Сбрасываю с себя окровавленный халат и перчатки, выхожу из операционной. Придерживаясь за стену.

Коридор качается, как палуба во время шторма. Грязная плитка под ногами, запах карболки и чего-то сладковато-гнилостного. Где-то плачет взрослая женщина навзрыд, безнадёжно. Нет сил, чтобы подойти и успокоить. В частной клинике мужа, мои клиентки чаще всего улыбались и радовались. Здесь все иначе, словно я оказалась вдруг на другой планете. Никак не могу отделаться от этого ощущения.

Встряхиваю головой и иду дальше.

Я сворачиваю в ординаторскую — маленькую комнату с продавленным диваном и прямоугольным столом, завален-

ным чашками, банками с кофе и чаем. Электрический чайник в желтых разводах давно потерял свой естественный белый цвет и стал коричневато-желтым. Здесь лежат какие-то бумаги, бинты, стопка историй болезней с каплями кофе на обложках, пустые ампулы из-под адреналина, чей-то жгут и разорванная пачка печенья. От всего этого пахнет усталостью и отчаянием.

Осматриваюсь и вижу висящее на стене потрескавшееся зеркало.

Подхожу и вижу, что на меня смотрит чужая женщина.

Бледная, как простыня. Глаза провалились, под ними — чёрные круги. На щеке — чья-то кровь, размазанная тыльной стороной ладони. Волосы выбились из пучка, висят мокрыми сосульками.

– Ты кого хотела здесь спасать? — спрашиваю я своё отражение.

Отражение не отвечает. Только смотрит устало и, кажется, с насмешкой.

Я отворачиваюсь от него. Не хочу знать ответ.

— Олеся Сергеевна! – слышу громкий возглас и быстро разворачиваюсь.

В дверях стоит незнакомая медсестра. Глаза круглые, перепуганные, как у зайца, которого загнали в угол.

— Срочно! В приёмном покое! Привезли!

— Кого привезли? — Мой голос звучит устало. Я даже не спрашиваю — просто выдыхаю.

— Военных. Там… там много. Их машина пришла, а они все… — Девушка заплетается, не может подобрать слова. — Кровь везде. Ничего не видно. И командир их там, большой такой… он сказал, чтобы врача срочно дали. А у нас никого, все заняты. Вы же врач, вы же…

«Большой такой», — повторяю я про себя. Сердце делает странный кульбит. Где-то там, в груди, что-то ёкает — то ли страх, то ли предвкушение.

— Бегу, — отвечаю я. Голос не дрожит. И это, наверное, странно, потому что руки до сих пор трясутся, а в груди колотится что-то большое и глупое.

Я не помню, как бегу по коридору. Ноги несут сами. Кросовки скользят по плитке, халат хлопает по ногам. Где-то в груди колотится сердце — или это просто отголоски того адреналина, который только что схлынул, а теперь снова захлёстывает с головой.

Толкаю дверь в приёмный покой.

И замираю.

Здесь… здесь творится ад.

Настоящий. Не тот, который был в операционной. Не тот, который я себе представляла.

Три носилки. Двое на полу. Кто-то сидит у стены, прижимая окровавленную руку к груди. Кто-то лежит без движения, и я не вижу, дышит он или нет. Пахнет железом, потом, гарью — и смертью, от чего подкатывает тошнота.

«Открытые переломы, минно-взрывные, осколочные», —

профессионально отмечает мой мозг, пока тело просто стоит и смотрит.

Медсестры мечутся между ранеными. Одной не хватает бинтов, другой — уколов, третьей — свободных рук, потому что своих у неё всего две, а раненых — десяток.

— Анестезиолог нужен! — кричит кто-то из угла.

— А нет его! Он вчера уехал за лекарствами и не вернулся!

— Блядь!

Я перевожу взгляд от одного лица к другому. Все чужие. Все в крови. Чужие люди с чужими ранами, чужими судьбами.

И вдруг — вижу его. Стоит в углу, у стены.

Суровый и серьезный, он выглядит выше и крупнее остальных. Широкие плечи и массивная грудь, напряженная до предела, готовы разорвать тесную одежду.

Чёрная борода с проблесками седины, которую я запомнила там, в доме отца. Форма без знаков отличия, заляпанная грязью — и кровью. Чужой кровью.

Фан.

Не раненый. Не убитый. Несломленный.

Живой.

Он смотрит на меня. Тяжело. Внимательно. Так же, как тогда в доме отца — оценивает, решает, кто перед ним. Только теперь в его глазах нет сомнений. Он знает, кто я.

И он привёз сюда своих бойцов. Потому что больше неку-

да.

Моё сердце пропускает удар. Потом второй. А потом начинает биться так, что, кажется, его слышат все вокруг.

Он стоит и смотрит, а я чувствую этот взгляд каждой клеткой. Он прожигает меня насквозь — сквозь грязный халат, сквозь усталость, сквозь боль, которая ещё не утихла после родов.

Я зла на него. За то, что привёз их сюда, когда я уже на пределе. За то, что смотрит так, будто я обязана. За то, что я действительно обязана. За то, что он появился — именно сейчас, когда я готова была упасть на пол без сил.

— Доктор, — говорит он не громко. Но его голос перекрывает шум, стоны, крики. Низкий. Хрипловатый. Властный. — Еще жива?

Хорошие мои, еще одна рекомендация книги нашего Литмоба!

Развод. Счастье по путевке

https://litnet.com/shrt/5KYD


Лия
ЛАТТЕ

11.

Он спрашивает не о моём состоянии. Он спрашивает:

«Ты сможешь? У тебя есть силы поставить на ноги моих ребят?»

Я смотрю на его лицо — усталое, обветренное, с резкими скулами и тяжёлым подбородком. Интересно, каково это — спрятаться за его спиной? Не от войны. От одиночества, которое съедает меня изнутри. Говорят, за такими, как он, можно быть как за каменной стеной. А я никогда ни за кем не была. Даже за папой — он слишком рано ушёл.

— Жива, — отвечаю я. И делаю шаг вперёд.

Он не двигается. Только смотрит. Из-под насупленных бровей, тяжело, как зверь из берлоги.

— Я здесь, — говорю я, глядя в его суровые глаза. — И я буду их спасать.

Фан молчит. Потом медленно кивает. Один раз. Коротко.

— Знаю, — говорит он. – Другого ответа и не ожидал.

Разворачивается и отходит к стене, пропуская меня к раненым.

Я прохожу мимо него. Близко, так близко, что слышу его дыхание — ровное, спокойное, чужое. Пахнет дымом и порохом. И мятой. Чёрт возьми, снова этими мятными конфетами.

Он протягивает руку и сердце замирает. Что он хочет? По-

править мне воротник? Взять за плечо? Остановить и повернуть к себе? Поцеловать?!!

Я не знаю. Не смотрю.

Потому что если посмотрю — упаду. Не от усталости. От того, что в его глазах я вижу что-то такое, от чего подгибаются колени.

Он касается моих лопаток и словно подталкивает туда, где начинается самый ад. Потому что если не я, больше некому.

Я делаю вдох, киваю ему и шагаю в самое пекло.

Первые минуты — как в тумане. Я осматриваю раненых, сортирую, командую. Тот — в операционную, этого — на перевязку, этот — ждёт, у него осколок неглубоко. Медсестры разбегаются, но их слишком мало. Слишком.

— Бинты! — кричит Настя. — У меня бинты кончились!

— Жгут дайте! — орёт кто-то из угла.

Я не успеваю. Рвутся нитки, заканчиваются обезболивающие, ломаюсь я.

И тогда я замечаю его.

Фан не стоит у стены. Он тоже работает.

Вот он подхватывает раненого, который сползает с носилок, — одной рукой, словно тот ничего не весит. Кладёт обратно, придерживает, пока Настя накладывает жгут.

— Держи, — рычит он на неё. — Туже, сестра, туже! Не бойся, он все равно ничего не чувствует.

Настя смотрит на него с ужасом и благодарностью одновременно.

А он уже у другого бойца. Зажимает рану на плече — прямо руками, голыми, без перчаток. Кровь сочится сквозь пальцы, но он не убирает ладони. Лицо спокойное, будто так и надо.

— Где хирург? — кричит он через всю комнату. — Парню нужна помощь, у него открытый перелом голени.

Я вижу, как он быстрым шагом идет к нашему хирургу — тому самому, сгорбленному, уставшему, с красными глазами. Фан берёт за другой конец носилок и помогает переложить раненого на стол. Молча. Без лишних слов.

— Спасибо, командир, — выдыхает хирург.

— Работай, — бросает Фан и уже разворачивается к следующему.

Он везде. Он успевает. Он зажимает, переворачивает, придерживает, подаёт бинты, даже не глядя — словно всю жизнь только этим и занимался.

Медсестры перестали оглядываться на него с опаской. Теперь они просто кричат: «Командир, сюда!», «Командир, держите!». И он везде.

А я злюсь.

Потому что он мешает. Потому что он не врач. Потому что он должен стоять у стены и не лезть, куда не просят. Потому что каждый раз, когда я поднимаю глаза, я натыкаюсь на него. На его руки в крови. На его спину, широкую, непробиваемую. На его взгляд — он всё равно находит меня среди этого хаоса.

Смотрит. Контролирует. Оценивает.

Я не хочу, чтобы он на меня смотрел. Не хочу, чтобы он видел, как у меня дрожат руки при виде его. Не хочу, чтобы он знал, что я на пределе.

— Командир! — кричу я, когда он в очередной раз возникает рядом с моим столом. — Уйдите. Не мешайте. Здесь врачи работают.

Он поднимает на меня глаза. Спокойно. Без тени обиды.

— Там боец, у него осколок в бедре, — говорит он ровно. — Я зажал, но если отпущу, он истечёт кровью за две минуты, — бросает Фан, не отрывая рук от раненого бойца.

— Я сама, — говорю я, делая шаг к нему.

— Ты занята, неженка.

— Если я неженка, — цежу сквозь зубы, вздёрнув подбородок, — то ты медведь.

— Пусть так, — ухмыляется он, показывая белоснежные клыки. — Медведь может разорвать любого. А что может неженка, а?

Он смотрит на меня в упор. Ждёт ответа. Испытывает. Проверяет, не сломалась ли я ещё.

— Неженка может тебя зашить, если кто-нибудь перепутает медведя с живой мишенью, — отвечаю я, глядя ему в глаза. — А ещё… неженка может приказать медведю заткнуться и не мешать работать.

Он усмехается. Коротко, зло, но замолкает.

Потому что он прав. У меня на столе раненый с проника-

ющим в живот. Хуже некуда — кишка выпадает. Я не могу отойти.

Я не оборачиваюсь. Не могу. Если сейчас посмотрю на него — разревусь. От усталости, от злости, от того, что он здесь, от того, что он нужен, от того, что он прав, а я нет. И я черт возьми, не справлюсь.

— Работаем, — командую я и беру скальпель. И слышу, как он сзади, не поворачивая головы, тихо, только для меня:

— Работаем, маленькая.

Хорошие мои, кому еще новинку нашего шикарного Литмоба!

Развод. Ориентация север

https://litnet.com/shrt/jPeD

12.

Проходит час или два. Я не знаю. Время течёт как-то иначе — то растягивается, то сжимается до секунды. Где-то на периферии сознания я слышу, как гудит неоновая лампа под потолком. Где-то плачет женщина — не та, которую я спасла, а другая, по кому-то, кто не доехал до больницы.

Я перевязываю, зашиваю, вытаскиваю осколки. Мои пальцы работают сами — промыть, зажать, зашить, перевязать. Голова отключилась. Только тело помнит, что надо делать. На хирургических перчатках — чья-то кровь, тёплая, липкая. Я давно перестала обращать на это внимание. Просто меняю их периодически, когда уже невозможно на них смотреть.

И каждый раз, когда я поднимаю голову, я вижу его.

Фан стоит у стены?

Нет — он опять с раненым. Вот он помогает старику-хирургу перевернуть бойца, чтобы сделать укол в ягодицу. Придерживает широкой ладонью, пока тот корчится от боли, скрипит зубами, но не кричит.

— Крепись, брат, — говорит Фан тихо, наклоняясь к самому лицу раненого. Голос низкий, рокочущий, как мотор. — Крепись. Я рядом, брат.

И снова смотрит на меня. Через всю комнату. Через стоны и крики. Через запах крови, йода и страха.

Я чувствую этот взгляд кожей. Затылком. Позвоночником. Он тяжёлый и такой же горячий как его руки.

Я отвожу глаза. Не сейчас. Не могу больше смотреть и слышать как колотиться мое сердце.

Но он не отводит. Ни на секунду. Смотрит на меня так, словно хочет прочитать душу.

Потом, когда я уже почти падаю от усталости, когда последний раненый зашит и перевязан, когда медсёстры выдыхают и оседают на стулья, я прислоняюсь к стене. И оседаю на пол. Закрываю глаза. Веки тяжёлые, словно к ним привязали гири.

Голова пустая. Ни одной мысли. Только гул в ушах и дрожь в коленях.

— Отдохни, — слышу рядом его низкий голос. А потом я вдруг взмываю над полом и меня прижимают к широкой груди. Куда-то несут. У меня нет сил сопротивляться, я просто улыбаюсь как дурочка. Последний раз меня носил на руках отец. Это было очень давно и кажется неправдой. Муж никогда не носил меня на руках, говорил, что у него спина больная. Я не просила. Привыкла, что я — сильная. Что я сама. Что мне никто не нужен.

А тут… просто взял. Поднял с пола и куда-то понес.

Я не открываю глаза. Не потому, что не могу — сил нет даже на это. А потому, что боюсь. Боюсь, что если открою — окажется, что это сон. Что никакой Фан не несёт меня на руках, что я всё ещё сижу на холодном кафеле в луже чужой

крови, а этот голос — просто галлюцинация уставшего мозга.

Но его руки — настоящие. Огромные, грубые, горячие. Одна лежит у меня под лопатками, другая — под коленями. Я чувствую жар его тела даже сквозь халат. И запах — дым, порох, мята. И ещё что-то мужское и тяжёлое от которого кружится голова.

— Ты лёгкая, — говорит он. — Как пушинка. Тебя кормят вообще?

— Иногда, — выдыхаю я. Губы не слушаются. — Война.

Он фыркает. Я чувствую вибрацию у себя в груди. Или это моё сердце снова отбивает чечётку?

— Война здесь, — его голос становится тише, почти шёпотом. — А там откуда ты, нет войны. Ты вообще ела сегодня?

Я молчу. Потому что не помню. Кажется, вчера. Или позавчера. Какой-то сухарь в машине. Или не сухарь. Или не вчера.

— Молчишь? — Он несёт меня куда-то по коридору. Я слышу, как скрипят его ботинки по старой плитке. Где-то хлопает дверь. Где-то тихо — так тихо, что, наверное, уже ночь или утро. Я не знаю.

— Некогда было есть, — отвечаю я. Голос звучит жалко. По-детски. Я ненавижу себя за этот тон, но не могу ничего с собой сделать.

— Дура, — говорит он без злобы. Скорее устало. Как отец,

который ругает непутевую дочь. — Неженка.

— А ты медведь, — шепчу я. Глаза закрываются от усталости или сна.

— Медведь, — соглашается он. Я чувствую, как его губы двигаются где-то над моей макушкой. Если бы я сейчас открыла глаза, наверное, увидела бы его подбородок. Бороду. Шрамы. — Медведь, который тащит неженку в ординаторскую, потому что она скоро сдохнет с голоду.

— Не сдохну, — возражаю я, но уже не уверена.

— Сдохнешь, — отрезает он. — А мне тогда раненых кто лечить будет? Мать вашу, бабы, вечно себя не жалеете! – скрипит зубами и я понимаю, что злится.

Я хочу обидеться.

Хочу сказать что-то едкое, как тогда, в приёмном покое. Но сил нет. И язык не ворочается. И вообще — мне так спокойно. Так безопасно. Впервые за… за сколько? За три года? За двенадцать? За всю жизнь?

А сейчас он несёт меня, такой большой и чужой, и я чувствую себя маленькой. Защищённой.

— Здесь, — говорит он, и я чувствую, как он останавливается. Слышу, как открывается дверь — знакомая ординаторская, скрип старой ручки.

Он заходит внутрь. Я слышу его шаги, потом чувствую, как меня аккуратно, почти бережно, опускают на что-то мягкое. Продавленный диван. Пружины противно скрипят под тяжестью моего тела.

— Открывай глаза, — приказывает он.

Я подчиняюсь.

Фан стоит надо мной, нависая, загораживая свет единственной лампы.

Я таю. Прямо здесь, на этом вонючем диване, под его взглядом.

— Я сейчас, — говорит он и разворачивается.

— Ты куда? — мой голос звучит испуганно. Слишком испуганно. Я хочу схватить его за руку, но не успеваю.

— За чаем, — бросает он через плечо. — И за сухарями. Колбаса вроде еще была. Есть будешь.

— Не хочу, — вру я.

— Хочешь и будешь, — он не оборачивается.

Он выходит. Я слышу его шаги в коридоре — тяжёлые, уверенные. И остаюсь одна на продавленном диване, в грязном халате, с руками, которые всё ещё пахнут чужой кровью.

Я смотрю в потолок. Грязный, с трещинами, с каким-то тёмным пятном в углу.

И улыбаюсь, как дура. Как девчонка вв шестнадцать лет, когда первый раз влюбилась.

— Прекрати, Олеся, — шепчу я себе. — Он командир. Ты врач. У него война. У тебя развод. Между вами ничего не будет.

Но сердце не слушается.

Когда Фан возвращается, в руках у него дымится кружка и зажата пачка сухарей. Из кармана торчит пол-палки коп-

ченой колбасы. Он ставит чай на стол, а сухари и колбасу кладет мне на колени.

— Ешь, — командует он.

— А вы?

— Я не голоден.

Я смотрю на него. Он стоит, прислонившись плечом к косяку, скрестив руки на груди. Смотрит, как я разворачиваю сухари. Как откусываю первый кусок вонючей, но вкусной колбасы. Как рот машинально наполняется слюной. Вкусно.

— Спасибо, — говорю я тихо.

Он не отвечает. Только смотрит. Долго. Тяжело. Так, что у меня пересыхает во рту, а сухарь застревает в горле.

— А теперь спать, — говорит он наконец. — Завтра будет новый день и новые раненые.

Он выпрямляется и идёт к выходу.

— Фан, — окликаю я.

Он останавливается. Не оборачивается.

— Не называй меня так. Для гражданских у меня есть имя.

— Какое? — шепчу я.

Он молчит. Секунду или две. Потом поворачивает голову, и я вижу его профиль — резкий, грубый, прекрасный.

— Игорь, — говорит он коротко. И выходит.

Хорошие мои, новиночка нашего Литмоба!

Развод. На отставку не согласен

https://litnet.com/shrt/PtkO


Лада
ЗОРИНА

13.

ФАН

Она не знает, что я чувствую, когда смотрю на неё.

Не знает, что каждый раз, когда её глаза находят мои среди этого ада, я забываю, как дышать. Что её голос — даже когда она рявкает на меня, даже когда цедит сквозь зубы проклятия, — заставляет моё сердце биться чаще.

Не знает, что я хочу её.

Не просто как женщину. Хотя и это тоже. Всё внутри меня сжимается, когда я вижу её — бледную, растрёпанную, в крови по локоть, но несломленную. Я хочу её как воздух. Как тишину после боя. Как то, что не должен себе позволять.

Я — командир. У меня нет права на слабость. Нет права на неё.

Но когда я нёс её по коридору, такую маленькую, почти невесомую, когда она прижималась ко мне и пахла кровью и чем-то своим, невоенным, — я понял, что пропал. Что этот запах теперь со мной навсегда.

Что её «А ты медведь» я буду вспоминать даже под пулями.

Я захлопываю дверь ординаторской и на секунду прижимаюсь лбом к холодной стене.

— Спокойно, — шепчу я себе. — Ты — полковник Афанасьев. У тебя бойцы. У тебя приказы. И нет никакой Олеси.

Вру. Себе же вру.

Я иду по коридору. Ботинки стучат по старой плитке — тяжело, уверенно. Так, как и должен ступать командир. Лицо моё — каменное, ни одной эмоции. Только глаза. Если бы кто-то заглянул в них сейчас, он увидел бы там чёрную пустоту.

Я — хороший командир. Я умею прятать всё, что внутри.

Кабинет главврача находится в конце коридора. Дверь приоткрыта. Я стучу — два коротких, раз и два — и вхожу, не дожидаясь ответа.

Главврач — пожилой мужчина с седой щетиной и усталыми глазами. Он сидит за столом, перебирает какие-то бумаги. Поднимает голову, и я вижу, как он напрягается.

Всегда напрягаются, когда я вхожу. Я знаю, как выгляжу.

Медведь. Зверь. Тот, кто не умеет говорить красиво, только приказывать.

— Слушаю, командир, — говорит главврач. Голос у него севший, усталый.

— Нужно поговорить, — говорю я. Не спрашиваю. Ставлю перед фактом, — О вашем новом враче. Одинцовой Олесе.

Он хмурится.

— Ты про Германову что ли? – поправляет меня и я тут же впадаю в ступор.

— Она замужем? – говорю на выдохе и громко кашляю.

— Наверно, – пожимает плечами главный, – не знаю. Надо

документы глянуть. Ты чего хотел-то, командир?

Я замираю.

Она замужем.

Слово бьёт под дых — резко, неожиданно, как пуля с той стороны, которую не ждал. Я чувствую, как желваки на скулах заходили ходуном, как пальцы сжимаются в кулаки.

— Замужем, — повторяю я, словно полоумный.

— Ну да, — главврач пожимает плечами, и вдруг открывает какую-то папку, которая лежала сверху и не поднимая головы от бумаг, зачитывает. — Германова по мужу. А девичья — Одинцова. Так что там с ней? Работает вроде хорошо. Елена Викторовна хвалила.

Я молчу.

В голове — каша из мыслей. Злость. Почему меня это так задело? Какое мне дело, замужем она или нет?

Но внутри всё горит.

Какой он? Тот, кто носит её фамилию? Тот, кто просыпается с ней в одной постели? Тот, кто… стоп. Афанасьев, твою ж мать, а. Ты на войне. У тебя бойцы в палатах. А ты думаешь о чужой жене, которая только что приняла роды и вытащила с того света твоего бойца?

— Работает хорошо, — соглашаюсь я. — Поэтому я хочу, чтобы вы выделили ей место в общежитии. Отдельную комнату. Недалеко от больницы.

Главврач смотрит на меня. Хмурится.

— У нас комнаты только для военных…

— Я знаю, — перебиваю его. — Поэтому я прошу. Не требую. Прошу.

Он молчит. Взвешивает. Я жду. Я умею ждать. На войне научился.

— Хорошо, — говорит он наконец. — Пусть живёт. Только комната маленькая. И холодно там. Печка сломана.

— Починю, — говорю коротко. — Ещё. Я хочу забрать её за ленточку. На сутки.

Главврач поднимает брови. Я вижу вопрос в его глазах — какой, нахуй, врач за ленточку? Но он не задаёт. Потому что я — Афанасьев. Потому что он знает: если я прошу — значит, надо.

— Мои бойцы не хотят в больницу. Не доверяют врачам. Боятся, что спишут, что отправят в тыл. А она — своя. Дочь офицера. И работает как… — я замолкаю, подбирая слово. — Как нужно. Они увидят её — и пойдут лечиться. Не мне же их зашивать.

— Зачем на сутки? — спрашивает главврач.

— Чтобы они поверили, что она не с неба упала. Что она здесь, рядом. Приедет, осмотрит, перевяжет, успокоит. Верну живую и здоровую.

Он молчит. Долго. Потом вздыхает.

— Спросите у неё. Если согласна — я не против.

— Согласится, – говорю я твёрдо. И уже не уверен, что говорю о работе.

— Вы её командир? — главврач смотрит на меня поверх

очков. — Она вам подчиняется?

— Нет, — говорю я. — Она никому не подчиняется. Но она поедет.

— Почему вы так уверены?

Потому что она — дочь офицера. Потому что она — Олеся. Потому что я прочитал это в её глазах сегодня, когда она стояла посреди этого ада и смотрела на меня так, будто я — единственное, что удерживает её на ногах.

Она замужем. Повторяю про себя. Замужем. Это ничего не меняет. Она — врач. Я — командир. Работа. Только работа.

Но почему тогда я хочу разорвать этого мужа в клочья? Почему мне хочется найти его и спросить: «Ты вообще знаешь, какую женщину тебе доверили? Ты заслуживаешь её?»

— Всё? — главврач смотрит на меня поверх очков.

— Всё, — киваю я. — Спасибо.

Я разворачиваюсь и выхожу в коридор.

Достаю сигарету. Курю. Дым горчит, как мысли, которые я не могу прогнать.

Замужем. Значит, есть кто-то, кто ждёт её там, в тылу. Кто обнимает её по ночам. Кто целует эти руки — руки, которые сегодня спасали жизни.

Я вдруг понимаю, что ненавижу этого человека. Незнакомца. Невидимку. Его — за то, что он есть.

И себя — за то, что мне не всё равно.

Тушу сигарету о подошву ботинка. Иду обратно.

Мимо ординаторской.

Там — она. Спит. Или уже нет.

Мне нельзя туда. Не сейчас. Не с этими мыслями.

Я командир. У меня нет права на неё.

Но чёрт возьми, почему так сложно забыть её глаза? Почему так сложно выкинуть из головы то, как она сказала «А ты медведь»?

Я ухожу в отделение к своим бойцам. Проверяю, как они. С кем-то разговариваю, кому-то просто смотрю в глаза. Работаю. Делаю то, что должен.

Но в голове — она.

И это кольцо.

Его нет на её пальце. Я смотрел. Я запомнил каждую деталь, когда нёс её. Холодные пальцы, перепачканные кровью, без блеска металла. Ничего. Ни обручалки, ни помолвочного.

Почему?

Я не знаю. И, наверное, это не моё дело.

Но спросить — спрошу.

Хорошие мои, пока мы ждем следующую проду, предлагаю окунуться в еще одну новинку нашего Литмоба!

Развод. Без права на помилование

https://litnet.com/shrt/HWCP



14.

Я просыпаюсь от тишины.

Не от взрывов, не от криков, не от топота санитаров — а от тишины. Она оглушает, как удар под дых. В ушах звенит. Кажется, я слышу, как кровь течёт по венам. Или это просто отголоски того ада, который остался там, в приёмном покое?

Открываю глаза и понимаю, что нахожусь в ординаторской. Продавленный диван, ржавая раковина, стол, заваленный бумагами и пустыми ампулами.

Я в своём халате — грязном, в крови, в йоде. Поверх меня накинута чья-то куртка. Тяжёлая, ватная, с чужого плеча. Пахнет дымом, порохом и… мятой.

Я снова принюхиваюсь, может показалось. Нет! Это точно его куртка.

Фан накрыл меня, пока я спала. Или не он — медсёстры. Но пахнет — Игорем.

Я вдыхаю этот запах и закрываю глаза на секунду. Хочется зарыться в неё лицом, как ребёнок в мамину руку. Но я не ребёнок. Да и этот мужчина – не мой.

Медленно поднимаюсь, откидываю куртку и встаю.

Тело ломит. Руки всё ещё дрожат, когда я сжимаю их в кулаки. Голова словно чугунная.

Ноги тоже слушаются плохо — ватные, неуклюжие. Я делаю шаг, второй. Добираюсь до двери, толкаю её плечом.

Коридор пустой. Лампы под потолком гудят, выхватывая из темноты грязную плитку. Где-то вдалеке хлопает дверь. Прислушиваюсь… нет, наверно, показалось.

Я иду на свет. К выходу. На воздух. Мне нужно дышать — не этим больничным, пропахшим карболкой и смертью, а настоящим. Тем, что за дверью.

Ступеньки холодные, каменные. Но я все равно опускаюсь на верхнюю, подкладываю под себя халат, и вспоминаю о теплой куртке Фана. Точно бы пригодилась. Обхватываю колени руками и смотрю в темноту. Небо низкое, без звёзд. Где-то там, за горизонтом, стреляют — глухо, далеко, не страшно.

Здесь — тишина и запах сигарет. Поворачиваю голову и вижу седовласого мужчину в возрасте. На лице густая щетина, он в мятом халате поверх старого свитера.

— Курить вредно, — говорю я с издевкой и глубоко вдыхаю знакомый аромат.

Папины сигареты. «Прима». Дешёвые, крепкие, те самые, от которых у меня в детстве першило в горле, когда он курил на кухне, открыв форточку. Как же я соскучилась по этому запаху. По папиным глазам. По его объятиям — крепким, чуть колючим от небритой щеки. По его голосу: «Олеська, ты у меня красавица».

— Знаю, — отвечает незнакомый мужчина. Он стоит на крыльце, опёршись плечом о колонну. Сигарета дымится в его пальцах — жёлтых, прокуренных, с чёрными ободками

под ногтями. — Но не курить не могу. А тебе, дочка, что, не спится?

— А вы кто? — спрашиваю я настороженно.

— Главный здесь, — он усмехается в усы. — Иванов. Но можно просто по имени-отчеству – Павел Захарович. Или «доктор». Я не гордый.

— Олеся, — представляюсь я.

— Знаю, кто ты, — он кивает. — Елена Викторовна рассказывала. Пойдём-ка, зайдём в кабинет. Потолковать надо. Не на холодном же крыльце разговаривать.

Я поднимаюсь. Ноги всё ещё ватные, но держусь. Главврач смотрит на меня устало, но тепло. По-отечески, что ли. Или просто по-человечески.

Кабинет у него маленький, заваленный бумагами. На столе — остывший чай в гранёном стакане, горсть таблеток россыпью, стопка карт. Пахнет пылью и старым деревом.

— Садись, — кивает он на стул. — Чай будешь?

— Не откажусь.

Он наливает из термоса в такой же граненый стакан. Жидкость тёмная, горьковатая на вкус. Я пью и смотрю на главврача. Он молчит, собирается с мыслями. Потом начинает.

— Утром приходил командир Афанасьев. Знаешь его?

— Знаю, — отвечаю тихо.

— Приходил он, значит, и разговор был о тебе.

— Обо мне?

— О тебе, – усмехается в усы и делает глоток горького чая.

– Во-первых, он просил выделить тебе комнату в общежитии. Нашем, военном. — Главврач поднимает на меня глаза. — Я согласился. Место есть. Правда, холодно там, печка сломана. Но командир сказал — починит. А он слов на ветер не бросает.

Я молчу. У меня будет комната. Своя комната. Не квартира Вадима, не продавленный диван в ординаторской — моя. Я чувствую, как что-то тёплое разливается в груди. Или это чай?

— Во-вторых, — главврач затягивается сигаретой, выпускает дым в форточку, — он хочет забрать тебя завтра с собой. На сутки.

Я усмехаюсь тихо, краешком губ.

— Знаю. Он уже говорил. В шесть утра. Выход на позиции.

Главврач поднимает брови.

— Говорил? Ну и славно. Значит, не надо тебе объяснять. Он бойцам своим доверяет. Боится, что в больницу не пойдут. А ты — своя. Дочь офицера.

— Угу, — киваю я. Хочется добавить что-то едкое. Про то, что мог бы и со мной обсудить, прежде чем к начальству бежать. Но я молчу. Потому что, чёрт возьми, это правильно. И потому что я всё равно поеду.

— Ну так что, ты согласна? — спрашивает главврач, хотя по глазам видно — он уже знает ответ.

— Согласна.

— Ну вот и хорошо. Обещал вернуть тебя целой и невредимой. Я ему верю. И ещё, — главврач мнётся, подбирает слова. — Он очень удивился, когда узнал, что ты замужем.

— Удивился? — я смотрю на него и внутри меня закипает непонятная злость. – Вы ему сказали?

Почему меня это задевает? Я что, собиралась ему врать? Но я ведь развожусь. Почти развелась. Документы уже подала. Так что я почти не замужем. Хотя… о чём это ты, Олесь?!

— Я сказал, что не знаю, – пожимает плечами и тянется за какой-то папкой. – Он то тебя знает как Одинцову, по отцу-офицеру. А у меня в документах ты значишься как Германова. Он… ну, в общем, побелел как-то. Думаю, ему не понравилось что-то.

Я молчу.

Вспоминаю, как Игорь нёс меня по коридору. Как смотрел. Как спросил: «Тебя кормят вообще?». Как заставлял есть колбасу и сухари.

— Твоё обручальное кольцо, — главврач смотрит на мои пальцы. — Где оно?

— Сняла, — говорю коротко. — Там, в прошлой жизни.

Он не задаёт лишних вопросов. Только кивает и гасит сигарету в жестяной банке.

— Ладно, — говорит он. — Иди отдыхай. Завтра будет новый день. И новые раненые. Командир придёт за тобой в шесть утра. Я распоряжусь, чтобы тебе собрали чемодан с лекарствами и бинтами с собой.

Я встаю. У двери останавливаюсь.

— Спасибо, — говорю я.

— За что? — он поднимает брови.

— За то, что дали шанс. За то, что поверили. За… — я не договариваю.

— Ступай, дочка, — говорит он устало. — Ступай.

Хорошие мои, еще одна новинка нашего Литмоба!
Развод. Любовь не по уставу
https://litnet.com/shrt/lPWf



15.

Я выхожу от главврача, и тишина коридора снова накрывает меня с головой. В голове — каша из мыслей. Комната. Общага. Своя комната. Я почти не верю в это.

Машина стоит там, где я её оставила — на площадке у больницы, серая, пыльная, чужая в этом военном мире. Отпираю дверь, забираюсь на водительское сиденье. Здесь пахнет по-другому. Домашним, что ли. Остатками той жизни, которую я бросила в Москве.

Рюкзак с вещами родителей на заднем сиденье. Икона. Зажигалка. Куртка.

И сумка. Маленькая, чёрная, та, что брала в клинику мужа в последний день. Там — сменка, документы, косметика, которую я не наносила уже сто лет.

И телефон.

Выключился, наверное, ещё вчера. Или позавчера. Я не помню. Достаю его, нажимаю кнопку. Экран не загорается и я выдыхаю. Кажется, я еще не готова к тому, что увижу.

Но времени нет. Я завожу машину и еду к общаге.

Общага — это старое двухэтажное здание из красного кирпича, обшарпанное, с выбитыми стёклами на лестничных клетках. На крыльце — следы от осколков. Но внутри чисто, пахнет хлоркой и чем-то жареным.

На входе меня встречает комендантша. Круглолицая, с

усталыми глазами, в пуховом платке. Женщина хмурится, склонив голову, а потом протягивает мне ключи.

— Вторая комната на втором этаже. Соседки нет, одна пока будешь. Печка не работает, дрова во дворе, но тебе, наверное, мужики помогут. Ты ж врач?

— Врач, — киваю я.

— Ну вот и славно. У нас тут многие… — она запинается. — В общем, заходи, если что. Я Аня.

Я поднимаюсь по скрипучей лестнице. Стены крашеные зелёной краской, местами облупившейся. На втором этаже — длинный коридор, несколько дверей. Из-за одной слышен детский плач. Из-за другой — тихий разговор по телефону, женский голос, срывающийся на шёпот.

Навстречу выходит женщина лет тридцати, в спортивных штанах и растянутом свитере. Увидев меня, кивает:

— Вы новенькая? Я с третьей. Меня Галей зовут.

— Олеся, — представляюсь я.

— Вторая комната, да? Там давно никого не было. Печка сломана, холодно. Муж мой на фронте, но если что — дрова помогу принести.

— Спасибо, — улыбаюсь я. И вдруг понимаю, что улыбаюсь по-настоящему. Впервые за… за сколько? За три года? За двенадцать? За всю жизнь?

Я открываю дверь.

Комната маленькая. Метров двенадцать, не больше. Стены выкрашены в бледно-голубое, местами облупились. Пол

деревянный, скрипучий, с щелями. Окно одно — узкое, с подоконником, на котором стоит засохший цветок в горшке. У стены — железная кровать с панцирной сеткой, застеленная советским полосатым матрасом с бантиками и солдатским одеялом. В углу — тумбочка и вешалка-стойка. У окна стол и стул. Ничего лишнего.

Но мне кажется, что я попала во дворец.

Я подхожу к печке-буржуйке. Чугунная, старая, с прогоревшей дверцей. Холодная. На улице весна, но ранняя, зябкая, особенно по ночам. Я вздыхаю — надо будет попросить дров. Или самой сходить. Справлюсь, как нибудь.

Сажусь на кровать. Пружины скрипят, но это приятно. Моё. Всё моё.

Достаю телефон, нахожу розетку и включаю на подзарядку. Жду минуту и включаю.

Экран загорается, и я вижу.

47 пропущенных вызовов. 23 сообщения.

Все от Вадима. И от Карины. Немного от Лили.

Я не хочу читать. Не хочу знать. Но палец сам нажимает на первое сообщение.

«Олеся, ты где?»

«Олесь, трубку возьми, дура набитая!»

«Ты что, серьёзно уехала? Насовсем?»

«Вернись, идиотка, поговорить надо!»

«Олеся, я передумал. Насчёт развода. Я не хочу разводиться»

«Олеся, мать твою, ты меня слышишь?»

«Олеся, ну ты же не серьезно. Мы вроде еще муж и жена.»

Дальше — хуже. Сообщения от Карины.

«Олесечка, милая, мы всё неправильно сделали. Вадик тебя любит. Он без тебя не спит, не ест»;

«Ребёнок не от него. Я всё придумала. Мне просто нужно было, чтобы он обратил на меня внимание. Но он не мой. Он твой»

«Олеся, прости меня дуру. Вернись, пожалуйста»

Я закрываю глаза.

Ребёнок не от него. Она всё придумала. Сегодня. А завтра?

Как просто все это и как мерзко.

Я сжимаю телефон в руке, и внутри меня закипает что-то тёмное, тяжёлое. Злость. Чистая, белая, как раскалённый металл.

Она придумала, а он поверил. Они оба — лжецы, трусы, предатели.

А я? Я поверила им обоим. Поверила, что я бесплодная. Поверила, что у них будет ребёнок. Поверила, что я никому не нужна.

Но сейчас — сейчас я сижу в маленькой холодной комнате в общаге, среди войны, среди чужих людей, среди крови и смерти. И я чувствую себя здесь живой. Нужной. Своей.

Я набираю номер Лили. Долгие гудки, потом — её голос, сонный, испуганный:

— Олесь? Ты где? Ты чего трубку не брала? Мы тут все с ума сошли!

— Лиль, — говорю я. — Я жива. Я в порядке. И… я, кажется, начинаю новую жизнь.

— Что? — она не понимает. — Ты где? Что случилось?

— Всё расскажу потом, — обещаю я. — Но пока… пока не звони мне. Я сама позвоню, как обустроюсь.

Я сбрасываю звонок и отключаю звук на телефоне.

Сообщения мужа и Карины скидываю в архив. Не хочу их видеть. Не хочу их слышать. Не хочу думать об этих предателях.

Я смотрю в окно. Там, за стеклом серая заря. Скоро утро.

Скоро шесть утра.

Скоро он придёт.

Я не знаю, что будет завтра? Не знаю, что там — за ленточкой? Не знаю, выживу ли? Но я знаю одно: я больше не та Олеся, которая умоляла мужа жениться на себе. Не та, которая верила в беременность мачехи. Не та, которая считала себя бесплодной и никчёмной.

Я врач. Я дочь офицера. Я та, кто спасает жизни.

И я готова к новой жизни.

Я ложусь на кровать, накрываюсь солдатским одеялом, пахнущим порохом и пылью и чем-то ещё — незнакомым, чужим и закрываю глаза.

Перед сном я вижу его лицо. Борода. Шрам над бровью. Глаза, которые смотрят так, что душа переворачивается.

«Завтра в шесть утра», — повторяю я про себя.

Скоро. Уже скоро.

Я засыпаю с улыбкой. Впервые за долгое время — без страха. Без слёз. С надеждой.

16.

Фан

Я не спал всю ночь.

Не потому, что стреляли. Не потому, что бойцы ворочались на больничных койках, бредили, звали матерей. Не потому, что командирская доля — спать урывками, просыпаться от каждого шороха.

Нет. Я не спал из-за неё.

Из-за Олеси. Из-за Германовой. Из-за Одинцовой. Из-за женщины, которую я нёс на руках, которая пахла кровью и йодом, которая смотрела на меня так, будто я — единственное, что держит её на ногах.

И из-за кольца.

Его нет на её пальце. Я видел. Я запомнил каждый сантиметр её рук, когда нёс её — длинные пальцы, хрупкие запястья, белую полоску на безымянном, бледную, незагоревшую. Кольцо сняли недавно.

Кто снял? Она? Или он?

Я сижу на крыльце штаба, курю «Приму», смотрю в темноту. Пачка почти пуста. Я смял третью за ночь. В горле дерёт, в груди давит. Но это не от табака.

«Ты — полковник Афанасьев. У тебя бойцы. У тебя война. И нет никакой Олеси».

Вру. Себе же нагло вру.

Она замужем.

У неё есть муж. Какой-то мужик, который носит её фамилию. Который имеет право к ней прикасаться. Который, возможно, даже не знает, где она сейчас. Не ищет. Не волнуется. Мудак.

А я сижу здесь, на холодном крыльце, и ненавижу этого незнакомца. Ненавижу за то, что он есть. И себя — за то, что мне не всё равно.

— Командир, — подходит боец, молодой, с заспанным лицом. — Машина готова. До больницы полчаса.

— Хорошо, — киваю я. — Жди.

Я тушу сигарету о подошву ботинка. Смотрю на часы. Половина шестого.

Она придёт. Должна. Она обещала.

Дорога до больницы — тридцать минут. Я веду УАЗ жёстко, резко, зло. Колёса вгрызаются в разбитую трассу, подвеска стонет, но я не сбрасываю скорость. Бойцы на заднем сиденье молчат — привыкли к моей езде.

Я паркуюсь у крыльца за пять минут до шести. Глушу двигатель. Смотрю на дверь.

Никого. Только дверь надрывно поскрипывает.

Жду.

Стрелка часов ползёт, как черепаха. Четыре минуты. Три. Две. Одна.

— Ну давай же, — цежу я сквозь зубы.

Шесть ноль-ноль. Тишина.

Я сжимаю руль так, что костяшки белеют.

— Ещё пять минут, — шепчу я. — И к чёрту. Сами справимся.

Я не знаю, кому вру — себе или ей. Или тому, кто там, наверху, смотрит на меня и, наверное, смеётся.

Шесть ноль-две. Шесть ноль-три. Шесть ноль-пять.

— Похер, — рычу я и тянусь к ключу зажигания. - Едем!

Дверь открывается.

Она выходит. С медицинским чемоданом в одной руке, со своей неизменной чёрной сумкой — в другой. В узких джинсах, белых дорогих кроссовках, в синем свитере и в расстегнутой куртке. Волосы собраны в хвост. Без косметики, бледная, с кругами под глазами — но живая. И улыбается.

Улыбается, чёрт возьми.

Я замираю. Смотрю, как она спускается по ступенькам, как идёт к машине. Лёгкая. Быстрая. Несмотря на тяжелый чемодан, несмотря на бессонную ночь. Может она тоже не спала из-за меня.

Все! Хватит Фан! Заткнись!

Она открывает дверь УАЗа, забирается на пассажирское сиденье. Кладёт чемодан между ног, сумку — на колени.

— Доброе утро, — говорит она, и голос у неё свежий, как утренний ветер.

— Не доброе, — бросаю я, даже не глядя на неё.

— Не выспались? — Она улыбается, почти смеётся. Весело ей.

— Вы очень догадливая, — цежу я сквозь зубы, сдерживая злость.

Я веду машину резко, срываясь с места. Она не спрашивает, куда мы едем. Просто сидит и смотрит в окно. На разбитые дороги, на сожжённые поля, на блокпосты, где проверяют документы.

Я краем глаза вижу её пальцы. Они с остервенением сжимают сумку, словно там лежит что-то ценное. На безымянном пальце нет кольца. Только след. Белый, незагоревший.

— Где ваше кольцо? — вырывается у меня. Грубо. Не вовремя.

А я — вояка. Не умею красиво, по-бабски, сопли размазывать. И думаю так же — просто, прямо, без хуйни. Она поворачивается ко мне. Пристально смотрит на меня и улыбка медленно сползает с ее лица.

— Сняла, — отвечает и отворачивается. Тема, видать, больная.

— Почему? - продолжаю давить. Потому что мне тоже блять больно и я хочу чтобы мне стало легче.

— Не ваше дело, товарищ полковник.

Товарищ полковник, значит! Отлично. Ну вот и поговорили. Утро, блять, совсем не доброе.

Я сжимаю челюсть. Сказать ей? Сказать, что я хотел бы снять с неё не только кольцо? Сказать, что я думал о ней всю ночь? Что я ненавижу её мужа — незнакомца, который имеет на неё право?

— Ты замужем, — говорю я. Не спрашиваю, утверждаю. Давлю на мозоль, чтобы стало больнее. Чтобы избавиться от этого нарыва, который разъедает душу.

— Развожусь, — так же коротко отвечает она.

Почему-то после этих слов становится легче. И тяжелее одновременно. Медленно и незаметно выдыхаю. Жутко хочется покурить. Может, остановится.

— Давно? — спрашиваю я, стараясь, чтобы она не заметила, что мне эта тема, сука, ой как интересна.

— Полгода, если он не будет тянуть. А мой муж будет. Сто процентов.

Я молчу. Полгода. Это долго. Пиздец как долго. Но это не конец.

Я думаю о том, что через полгода она будет свободна. И о том, что на войне полгода — это вечность. Можно умереть десять раз и столько же воскреснуть.

— А ты зачем спрашиваешь? — Она смотрит на меня, чуть наклонив голову. — Переживаешь?

— Я должен все знать о человеке с которым буду там… на передовой, – показываю свободной рукой вперед и искоса гляжу на нее.

Она замолкает. Только усмехается и снова отворачивается к окну. Фух, кажется, поверила.

Дорога становится хуже. Ямы, воронки, разбитая техника на обочинах. Где-то вдалеке гул. Не то стрельба, не то работа тяжёлой техники.

— Долго еще ехать? — спрашивает она.

— Не бойся, неженка, — хмыкаю я. – Здесь работают настоящие мужики. Если что, мы тебя прикроем.

— Я и не боюсь, медведь! — рявкает она и мне это нравится. Она поворачивается ко мне. Глаза — холодные, спокойные, как сталь. — Я врач.

Я смотрю на неё. На её прямой нос, сжатые губы, подбородок, который она привыкла вздёргивать, когда спорит.

И внутри меня что-то переворачивается.

Я хочу её. Прямо сейчас. На заднем сиденье этого УАЗа, на грязном брезенте, среди запаха бензина и пороха. Снять с неё этот дурацкий свитер, расстегнуть джинсы, запустить руки в её волосы, прижать к себе так, чтобы она поняла: она — моя. Не того мужика, который носит её фамилию. Моя. Афанасьева. Фана.

Я не говорю это и не скажу.

Я просто смотрю на дорогу и молчу.

Мы въезжаем в расположение. По сторонам серые и обгоревшие дома. Бойцы, которые смотрят на нас усталыми глазами.

Я паркуюсь у штаба — облезлого здания с выбитыми окнами.

— Приехали, — говорю я и вылезаю из машины.

Она берёт чемодан и сумку. Смотрит вокруг — спокойно, без страха.

— Тут недалеко, — говорю я, забирая у неё чемодан. —

Пойдём.

И вдруг — свист.

Я узнаю этот звук. За секунду до того, как мозг обрабатывает информацию, тело уже реагирует. Взрыв где-то слева, не близко, но и недалеко. Грохот, крики, запах гари.

— Беги! — ору я, не думая. Хватаю её за руку — сильно, до боли, тащу за собой. — Беги, дура! К штабу, быстро!

17.

Я бегу. Рядом — Фан. Его рука не отпускает мою, пальцы впиваются в запястье, как стальные прутья. За спиной — топот бойцов из УАЗа. Мы все бежим к этому облезлому зданию с выбитыми окнами.

Я не знаю, сколько это длится. Секунда. Две. Три.

А потом — волна.

Я чувствую её спиной, раньше, чем слышу. Горячий воздух, смешанный с землёй, песком, осколками. Меня сбивает с ног, я лечу вперёд, теряя ориентацию в пространстве. Чемодан выскальзывает из руки, сумка летит куда-то в сторону.

И в этот момент меня накрывает.

Не земля. Не взрыв. ОН.

Фан падает на меня сверху, прикрывая собой, как щитом. Я чувствую его вес — он тяжёлый и плотный. Слышу, как он тяжело дышит рядом с моим ухом. От него пахнет таким знакомым: порохом, мятными конфетами и табаком «Прима».

Мир замирает.

Грохот стихает, сменяясь звоном в ушах. Пыль оседает, скрипит на зубах. Где-то рядом кашляет боец, кто-то ругается матом. Но я ничего не вижу, кроме его лица и его глаз.

Мы лежим на земле, в пыли, в осколках, в этом аду. А он смотрит на меня сверху, и между нами… один… сантиметр.

Всего один сантиметр.

Я чувствую его дыхание на своих губах. Горячее, с примесью табака и стали. Я вижу каждую морщинку у его глаз, шрам над бровью, седую нитку в чёрной бороде. Вижу, как расширены его зрачки, как он тяжело дышит, как его грудь прижимается к моей.

Я не могу пошевелиться. Не потому, что страшно. Не потому, что больно.

Потому что если я пошевелюсь — я поцелую его. Поцелую так, как никого и никогда не целовала.

И он это знает.

Я вижу это в его глазах. Он смотрит на меня, и я читаю там всё. Всё, что он не сказал. Всё, что он скрывал за грубостью и «товарищем полковником». Всё, что он чувствовал всю ночь, пока не спал.

— Олеся, — шепчет он моё имя.

Моё сердце пропускает удар. Потом второй. Потом начинает биться так, что, кажется, он слышит это.

— Я здесь, товарищ медведь, — отвечаю я. Голос хриплый, срывается.

Его рука, та, что была у моего запястья, медленно поднимается. Пальцы касаются моего лица — осторожно, почти невесомо, как будто он боится, что я исчезну. Проводит по щеке, стирая пыль. Останавливается у губ.

Я чувствую его пальцы на своих губах. Шершавые, грубые, пахнущие порохом. И закрываю глаза.

— Не закрывай, — шепчет он. — Смотри на меня.

Я открываю глаза.

Он смотрит на меня так, как не смотрел никто. Как будто я — единственное, что осталось в этом мире. Как будто война, взрыв, смерть — всё это неважно. Важна лишь только я.

— Ты как? — спрашивает он хриплым голосом.

— Жива, — выдыхаю я. — Ты прикрыл меня.

— Конечно, прикрыл, — говорит он, и в голосе — столько нежности, что у меня сжимается сердце. - Куда б я делся… хмм… с подводной лодки.

Он не отводит взгляда. Его пальцы всё ещё на моих губах. Он медлит. Я вижу, как он борется с собой.

— Игорь, — шепчу его настоящее имя. Его глаза меняются. Что-то ломается в них. Или наоборот — становится на место.

— Олеся, — говорит он, и его голос почти не слышен. — Ты… ты не представляешь, что ты со мной делаешь.

— Представляю.

И замолкаю.

Потому что не могу сказать больше. Потому что если скажу — я сорвусь. Я признаюсь ему в том, что всю ночь ворочалась на продавленном диване и вдыхала запах его куртки. В том, что я думала о нём, когда перевязывала раненых. В том, что я хочу его до дрожи в коленях.

Но я не могу.

Потому что я замужем. Формально. Да, развожусь. Да, по-

дала документы. Но пока есть штамп в паспорте — я не его. Я чужая.

И он знает. Он смотрит на меня, и я вижу — он тоже хочет. Но он не переступает черту. Потому что он — порядочный. Потому что он — вояка, который не лезет к чужой жене. Даже если эта жена сама готова упасть в его объятия.

Я первая отвожу взгляд.

— Там раненые, — говорю я хрипло. — Надо работать.

Он молчит. Потом медленно убирает руку с моего лица. Я чувствую, как уходит тепло его пальцев. Как становится холодно на том месте, где они были.

— Раненые, — повторяет он и ощущаю как меняется его голос. Он снова стал командиром. — Поднимайся Одинцова.

Он протягивает мне руку, и я хватаюсь за него. Не смотрю в глаза. Потому что если взгляну — не смогу встать.

Он тянет меня вверх. Я поднимаюсь, отряхиваюсь. Чемодан валяется метрах в трёх. Поднимаю.

— В штаб, — говорит он коротко. Разворачивается и идёт.

Я смотрю ему вслед. На широкую спину. На руки, которые только что касались моего лица. На то, как он уходит — быстро, жёстко, не оборачиваясь.

И я понимаю: он тоже боится. Боится, что если обернётся — не сможет уйти. Боится, что скажет то, что нельзя. Боится, что я — замужем.

— Игорь, — зову я тихо.

Он останавливается. Не оборачивается.

— Спасибо, — говорю я. — Что прикрыл.

Он молчит. Потом кивает — один раз, коротко. И идёт дальше.

Я смотрю ему вслед и чувствую, как внутри меня что-то обрывается. Или наоборот — зарождается. Что-то, чего я не хочу чувствовать. Что-то, чему нет места на войне. Что-то, что нельзя трогать, пока я замужем.

Но оно есть. Оно растёт. Оно живёт.

И я не знаю, что с этим делать.

Я беру чемодан, поправляю сумку и быстро иду за ним. В штаб. К раненым. К работе.

Потому что больше некуда, да и незачем.

Хорошие мои, я хотела бы вас пригласить в свою новинку, которая будет необычной, но я уверена, что она вам понравится.

Токсичный БОСС. Ах, ты ж моя седина в бороду!

https://litnet.com/shrt/8war


Мил
ЛОТ

— В моём офисе, — сказал босс ровным, почти скучающим голосом, — секретарши носят либо бесшовное бельё, либо кружевное. — Если у вас нет ни того ни другого… ходите без белья, но не позорьтесь.

Я не успела ничего ответить. Стояла на табуретке и открывала рот, как выброшенная на берег рыба.

— Контуры ваших трусов видны с парковки, — добавил он так же буднично, как если бы обсуждал погоду. — Это не просьба, Курочкина. Это рекомендация. Исполняйте, если не хотите завтра же оказаться на улице.

18.

Я вбегаю в штаб, и меня накрывает от жуткого запаха крови и пота, спирта и йода. Всё смешалось в одном густом, тяжёлом мареве, от которого сжимается горло. Здесь нет операционной. Нет стерильных столов, нет нормального освещения, нет привычного УЗИ.

Есть только грязный пол, несколько носилок, матрасы на земле и люди, которые смотрят на меня с надеждой и болью.

Четверо. Нет, пятеро.

Двое лежат, один сидит у стены, прижимая к груди окровавленную руку. Ещё один боец без сознания — его только что занесли, он весь в пыли, форма разорвана в клочья. Что под ней, страшно представить.

— Врач! — орёт кто-то из угла. Молодой парень в окровавленном бушлате, глаза бешеные, руки трясутся. — У нас контуженый, осколочное в живот!

Я вижу его. Полевой врач — мужик лет пятидесяти, в мятом халате, с усталыми, но цепкими глазами. Он уже работает с одним из раненых — перевязывает ногу, зажимает артерию.

— Я помогу! — кричу я, сбрасывая куртку прямо на пол.

Хватаю свой медицинский чемодан, ставлю его на шаткий стол. Открываю. Внутри — всё, что собрала Елена Викторовна: бинты, жгуты, стерильные салфетки, перекись, йод,

шприцы, ампулы с обезболивающим. Не густо, но лучше, чем ничего.

Надеваю перчатки.

Руки работают сами. Я разрезаю форму, вижу рану — глубокую, в нижней части живота. Кишка не выпала, слава богу, но осколок засел в мышцах. Надо извлекать.

— Имя? — спрашиваю я бойца, который держится за живот. Парень молодой, лет двадцати пяти. Бледный как полотно.

— Лёха, — шепчет он. — Лёха Сомов.

— Лёха, — говорю я, наклоняясь к нему. — Я сейчас посмотрю. Ты будешь дышать, слышишь? Глубоко. Не двигайся.

— Зажим, — командую я полевому врачу. Он швыряет мне инструмент. Ловлю на лету.

— Ты акушер? — спрашивает он, мельком глянув на мои руки.

— Как догадался?

— Хуже не придумаешь, — усмехается он горько, но в глазах — уважение. — Привыкла детей рожать, а тут мужики с осколками. Ну, показывай, чему тебя учили.

Я улыбаюсь, но ничего не отвечаю. Делаю разрез. Быстро, чётко, как учили.

Парень стонет, его рука сжимает мою — я чувствую силу и страх одновременно.

— Терпи, Лёха, — шепчу я. — Терпи, миленький.

Позади — крики, стоны, звуки чужой боли. Медсестра, молоденькая, с испуганными глазами, мечется от одного к другому. Третий боец, контуженый, ворочается на матрасе, не понимает, где он, что с ним.

Я работаю. Зажим, извлечение, промывка. Осколок — маленький, острый — выходит с лёгким хлюпаньем.

— Спирт, — бросаю я.

Медсестра швыряет мне бутылку. Плещу на рану, зашиваю на живую — нитки грубые, но других нет. Парень стискивает зубы до скрипа, но не кричит.

— Держись, — даю ему обезболивающее — последнее, что было. Он расслабляется, веки тяжелеют.

— Готов, — выдыхаю я.

И тут новый крик.

— Командир! Командира ранило!

Я оборачиваюсь.

Сердце падает куда-то вниз.

У входа Фан. Он стоит, привалившись плечом к дверному косяку. Левая рука висит плетью, из предплечья хлещет кровь. Форма разорвана, на лице — ссадина, в глазах — боль и ярость. Рядом боец поддерживает его под руку, но Фан отмахивается, делает шаг вперёд, и я вижу, как он бледнеет.

— Сядь! — ору я, бросая всё. — Сядь сейчас же!

— Ерунда, — цедит он сквозь зубы, но я вижу, что он еле стоит. — Царапина.

— Я сказала, сядь! — рявкаю я, хватая его за здоровую

руку и прижимая к стене. — Садись, идиот! Сейчас я перевяжу.

— Я в норме, неженка, – улыбается он запекшимися от крови губами.

— Замолчи, — цежу сквозь зубы. — Сейчас ты не на войне, ты у меня в операционной. И я здесь главная. Понял меня?

Он смотрит на меня, секунду или две. А потом медленно, устало, оседает на пол.

Я уже не думаю, кто он. Командир. Мужчина. Медведь. Мне плевать. Передо мной - раненый пациент, который истекает кровью.

Я хватаю ножницы, разрезаю рукав. Кровь — тёмная, густая. Рана глубокая, но, слава богу, кость цела. Осколок прошёл навылет.

— Зажим, — киваю медсестре. — Перекись. Бинт.

Она быстро кладет мне все это в ладонь и я начинаю работать.

— Ты как? — спрашиваю я, не глядя на него.

— Нормально, — отвечает он хрипло.

— Не верю. Врешь, да?

Он усмехается и продолжает смотреть мне в глаза. Долго, упрямо, словно хочет узнать, о чем же я думаю.

Я промываю рану — он вздрагивает, сжимает челюсть, но молчит.

— Терпи, — говорю я тихо. – Терпи, мой хороший.

— Терплю.

Я зашиваю. Быстро, аккуратно. Перевязываю, а потом поднимаю на него глаза.

— Готово, — выдыхаю я. — Повезло — чисто, без заражения. Если не сорвёшь бинт и не будешь дёргаться – до свадьбы заживёт.

— До какой свадьбы? – спрашивает хриплым голосом, как медведь, ей богу.

— Не знаю, – пожимаю устало плечами, – так говорят.

— Спасибо, доктор, — говорит он тихо. Голос — не командирский. Невластный. Простой, усталый, почти бессильный.

Я хочу сказать что-то едкое. Хочу спросить, какого чёрта он полез под пули. Хочу ударить его, а потом обнять и поцеловать. Хочу всё сразу. Но вместо этого, я просто

стискиваю зубы и отвечаю:

— Не за что, товарищ полковник.

Он улыбается. В первый раз. По-настоящему. И я вижу в этой улыбке всё.

— Сейчас я проверю остальных бойцов! — говорю я уже громко, для всех. — Готовьте перевязочный материал. У кого раны неглубокие — обработаем на месте. Контуженых уложить отдельно, наблюдать за дыханием. Работаем ребятки.

Я разворачиваюсь.

В комнате — стихающий гул, медсестра уже тащит бинты,

полевой врач зашивает очередного бойца.

Я смотрю на свои перепачканные чужой кровью руки. Но внутри меня странное спокойствие.

Я не оборачиваюсь, потому что если обернусь — брошу всё и прижмусь к нему, как к единственной опоре. Но у меня есть работа и люди, которые нуждаются во мне. И весь этот кошмар, который я должна преодолеть. Но он здесь и пока он рядом — я справлюсь.

19.

Я работаю. Один за другим. Перевязки, зашивание, извлечение осколков. Руки двигаются сами, голова отключилась — только глаза видят раны, только пальцы помнят, что делать.

Полевой врач работает рядом, мы перекидываемся короткими фразами: «Зажим!», «Бинт!», «Держи!».

Медсестра, молоденькая, с испуганными глазами, уже не выглядит растерянной — она просто делает свою работу, подаёт инструменты, промокает кровь, успокаивает раненых.

Я не знаю, сколько проходит времени. Час? Два? Три? Время здесь течёт иначе — то растягивается до бесконечности, то сжимается до секунды.

Где-то вдалеке снова грохочет, но уже не близко. Кто-то кричит, кто-то стонет, кто-то молится. Но я не поднимаю головы. Не могу — у меня на столе парень с осколочным в плече. Осколок застрял глубоко, почти у кости. Кровь сочится, пропитывая бинты, которые я меняю один за другим.

— Терпи, — говорю я, наклоняясь к его лицу. Он бледный, губы обкусаны до крови, глаза мутные. — Терпи, слышишь? Сейчас я его достану.

Он сжимает зубы, кивает. Я работаю. Зажим, скальпель, глубоко, осторожно. Пальцы чувствуют каждый сантиметр тканей. Осколок скользкий, уходит глубже, когда я пытаюсь

его поддеть. Ещё немного. Ещё.

— Есть, — выдыхаю я, когда металл со звоном падает в лоток. — Готово. Сейчас зашью.

— Спасибо, доктор, — шепчет он, теряя сознание.

Промываю, зашиваю, перевязываю. Оставляю на матрасе, накрываю чьей-то курткой.

Наконец, последний. Перевязан, зашит, уложен. Я выпрямляюсь, и мир качается перед глазами. Спина ноет, руки дрожат, глаза слипаются.

Я чувствую, как адреналин схлынул, оставляя после себя пустоту и усталость. Такую глубокую, что кажется — я сейчас упаду.

— Всё? — спрашивает полевой врач. Он уже снял перчатки, вытирает лицо грязным полотенцем.

— Всё, — выдыхаю я. Слова даются с трудом.

Он смотрит на меня с уважением. В глазах — не только усталость, но и что-то тёплое.

— Неплохо для акушерки, — говорит он. — Даже очень неплохо.

Я хочу улыбнуться, но не могу. Слишком устала. Губы не слушаются. Я просто киваю и стягиваю перчатки — они липкие, в чужой крови, в чужой боли.

— Я пойду, — говорю я. — На улицу. На воздух.

Он кивает и я выхожу.

Ступеньки холодные, бетонные, кое-где обломанные. Я опускаюсь на них — сил стоять нет. Смотрю в небо. Се-

рое, низкое, без единого просвета. Где-то там, за горизонтом, снова стреляют. Но здесь — тихо. Только ветер, и запах гари, и где-то далеко кричит птица.

Закрываю глаза. И сразу — его лицо. Шрам над бровью. Борода с сединой. Глаза, которые смотрели на меня так, будто я — единственное, что осталось в этом мире. Я чувствую, как внутри разливается тепло, и тут же — боль. Потому что я не знаю, увижу ли его снова.

— Ты как, Олесь?

Голос. Низкий, хриплый. Знакомый до боли.

Я открываю глаза.

Фан стоит рядом. Рука перевязана мною. Бинт еще белый, чистый — я помню каждый сантиметр этой раны, каждый стежок. На уставшем лице — ссадина, запёкшаяся кровь на губе. Но он держится. Держится так же, как я. Стоит, не шатается, даже улыбается немного, хотя улыбка выходит кривой.

— Жива, — отвечаю я.

Он молча садится рядом. Не спрашивает разрешения, не ждёт приглашения. Просто садится — тяжело, с кряхтением, как старый медведь. Смотрит вперёд, в серое небо, и я чувствую его плечо рядом со своим — горячее, живое. От него пахнет порохом, потом и мятой. Его мятой. Моей мятой.

— Ты хорошо работаешь, — говорит он тихо. Голос звучит устало, но в нём — тёплая хрипотца, от которой у меня сжимается сердце.

— Спасибо, — отвечаю я.

— Я не про раненых, — он поворачивает голову ко мне. — Я…про нас.

Я поворачиваюсь к нему. Он не отводит взгляда. Смотрит прямо в глаза.

— Про нас? — переспрашиваю я тихо.

— Я не знаю, что это, — говорит он. Голос чуть хрипит, как будто слова даются ему с трудом. — Я не знаю, как это называется. Я не умею говорить красиво, не умею… как вы, городские, с чувствами. Но я хочу, чтобы это продолжалось. Чтобы ты была рядом. Чтобы я мог смотреть на тебя, когда просыпаюсь. Чтобы я мог знать, что ты есть. Где-то. Живая.

У меня перехватывает дыхание. Слёзы подступают к горлу, я чувствую их горячий ком, который не могу проглотить.

— Игорь, — шепчу я. — Я не могу.

— Я знаю, — говорит он, и его голос становится мягче. — Ты замужем. Я знаю. Я помню. Но ты разводишься… и я буду ждать. Столько, сколько надо. Месяц. Полгода. Год. Всю войну, если нужно. Я подожду.

— А если… если ты не вернешься? — спрашиваю я.

Он смотрит на меня тяжело, пристально, так, что я чувствую его взгляд всем телом. Смотрит и молчит. Секунды тянутся, как часы.

— Я вернусь, — говорит он твёрдо. — Я не дам тебе уйти. Ты мне нужна. Ты мне нужна, Одинцова. Поняла? - рычит как медведь и сжимает в кулаке пачку сигарет. - Как воздух

нужна.

У меня слёзы катятся по щекам и я всхлипываю. Надрывно. А потом просто кладу голову на его широкое и такое родное плечо, и закрываю глаза.

Он не обнимает меня. Не шевелится. Просто сидит, позволяя мне быть рядом. Плечо под моей щекой дышит — ровно, спокойно.

Он медленно накрывает здоровой рукой мою ладонь. Пальцы грубые, шершавые, но я чувствую, как они осторожно сжимают мои.

— Игорь, — говорю я тихо, не открывая глаз.

— Ммм? — отзывается он.

— Если ты не вернёшься, я тебя не прощу.

Он усмехается. Тихо, по-медвежьи. Я чувствую вибрацию его смеха сквозь плечо.

— Я вернусь, — повторяет он. — Я всегда возвращался. А теперь тем более вернусь. У меня теперь есть ради кого.

20.

Сутки за ленточкой превратились в бесконечность.

Я не знаю, сколько раз я перевязывала, зашивала, вытаскивала осколки. Сколько раз смотрела в глаза людям, которые боялись больше смерти — боялись, что я не успею. Сколько раз я шептала: «Терпи, милый, терпи». Мои руки дрожали от усталости, но продолжали работать. Глаза слипались, но я заставляла себя смотреть. Я не имела права ошибиться. Каждая ошибка — чья-то жизнь.

Фан был рядом. Всегда. Я чувствовала его присутствие спиной, затылком, каждой клеткой. Он появлялся там, где был нужен: подавал бинты, перетаскивал раненых, удерживал тех, кто бредил и метался. Он не говорил лишних слов, не задавал вопросов. Просто был. И этого хватало.

Иногда наши взгляды встречались. Коротко, на секунду. И в этой секунде я читала всё: «Ты справишься. Я рядом. Я не уйду». И я продолжала работать.

Ближе к вечеру привезли медикаменты. Целый ящик — антибиотики, перевязочный материал, обезболивающее. Я чуть не заплакала от радости, когда открыла его. Такого счастья я не испытывала, наверное, никогда в жизни.

— Где взяли? — спросила я у бойца, который тащил ящик. Голос сорвался от усталости и благодарности.

— Командир достал, — ответил он, кивая на Фана. —

Сказал, что врачу нужно. Пробил через все инстанции.

Я посмотрела на него. Он стоял у двери, скрестив руки на груди, и наблюдал за мной. Смотрел — тяжело, внимательно, как всегда. Но сейчас в его взгляде было что-то новое. Он смотрел на меня так, как будто я была самым ценным, что у него есть.

Я хотела подойти, сказать спасибо. Хотела коснуться его руки, почувствовать его тепло. Но не успела.

Земля вздрогнула.

— Блядь! — заорал кто-то. — Накрывают!

Я не думала. Просто действовала.

— В укрытие! — закричала я. — Тащите носилки! Окна! Все к стене!

Мы метались по штабу. Я хватала раненых, перетаскивала их в безопасное место, подальше от окон, подальше от стекла, которое сыпалось на голову. Фан работал рядом — он подхватывал носилки с одного конца, я с другого. Мы не смотрели друг на друга, не говорили ни слова, просто делали своё дело.

Я чувствовала его дыхание у своего затылка, когда он проносился мимо. Я слышала его голос, когда он командовал: «Быстрее! Давай!». И в этом хаосе, в этом аду я знала одно — он рядом. Он не бросит.

Взрывы становились ближе. Где-то неподалёку — удар, совсем рядом. Стены дрожали, пыль сыпалась с потолка, кто-то кричал, кто-то плакал. Я видела, как трясутся руки у

молоденькой медсестры, как она зажмурилась, прижимая к себе бинты.

— Держите! — орала я, придерживая носилки, чтобы они не упали. — Ещё двое! Быстро!

Фан схватил контуженого, перекинул через плечо — я видела, как его раненая рука дрогнула, как он на секунду зажмурился от боли, но не остановился. Затащил в угол, укрыл собой, прижал к стене. Его лицо было бледным, но он не сдавался.

Я успела последней. Почти.

Стекло взорвалось, когда я закрывала лицо руками. Меня прижало к стене — не взрывной волной, а им. Фан накрыл меня собой, как тогда, в первый день за ленточкой. Только теперь мы стояли, прижатые друг к другу, в пыли, в осколках, в тишине, которая наступила после.

Я чувствовала его сердце. Оно билось так же сильно и часто, как моё. Я чувствовала его дыхание на своей шее — горячее, сбивчивое. Я чувствовала его руки, которые прижимали к себе.

Я подняла голову и увидела его глаза. Они смотрели на меня так, как никогда раньше. Не как командир. Не как товарищ. Как мужчина, который только что спас меня. В его взгляде была такая сила, такая нежность, такая боль, что я захлебнулась в ней.

— Ты как, неженка? — спросил он хрипло и голос надорвался.

— Жива, — ответила я. — А ты?

— Нормально.

Он смотрел на меня. Не отводил взгляда. Я видела, как его зрачки расширены, как он тяжело дышит, как его пальцы сжимают мою талию.

— Ты трясёшься, — сказал он тихо. — Я чувствую.

— Это не от страха, — прошептала я. — Это от тебя.

Он замер. Смотрел на меня, не веря.

— От меня?

— Ты сводишь меня с ума, — выдохнула я. — Каждый раз, когда ты рядом, я забываю, как дышать. Каждый раз, когда ты на меня смотришь, я чувствую, что падаю в пропасть.

Он смотрел на меня. Молчал. А потом — улыбнулся. Такой улыбкой, от которой у меня подкосились колени.

— Я тоже, — сказал он. — Я тоже, Олеся. Я пропадаю, когда ты рядом. И я не знаю, что с этим делать.

— Не делай ничего, — прошептала я. — Просто будь рядом.

Он притянул меня ближе. Сильнее. Так, что я не могла дышать. Но мне было плевать.

— Я хочу тебя поцеловать, — сказал он тихо. — Но я не знаю, можно ли.

— Можно, — прошептала я. — Сейчас можно все.

… и он поцеловал меня. Сначала нежно, почти робко. Его губы касались моих так осторожно, будто я была из стекла. Я чувствовала его дыхание, его запах — пыль, порох, мята.

Он пах войной. Он пах домом.

А потом поцелуй стал глубже. Он прижал меня к стене, его рука скользнула по моей спине, притягивая ближе. Я запустила пальцы в его волосы, нащупала на затылке шрам и провела по нему. Он вздрогнул, но не отстранился.

— Ты моя, — выдохнул он в мои губы. — Я не отдам тебя. Никому не отдам, слышишь?

- По-моему, это самое романтичное, что я слышала в своей жизни.

Он отстранился и посмотрел на меня так, словно увидел впервые. В его глазах горело что-то, от чего у меня сжималось сердце.

— Олеся, — сказал он хрипло.

— Ммм?

— Ты самая храбрая женщина, которую я видел.

— А ты — самый глупый медведь, который лезет под пули. Но ты мой медведь.

Хорошие мои, если вам нравится эта история, поставьте ей лайк ❤# и подпишитесь на автора.

Это можно сделать вот так)

16:45



21.

Следующее утро наступило слишком быстро.

Я проснулась от того, что кто-то тряс меня за плечо. Резко, настойчиво, как будто я могла не проснуться. Открыла глаза и увидела молодого бойца — того самого, который вчера тащил ящик с медикаментами. Сейчас он стоял надо мной, смущённо отводя взгляд.

— Доктор, просыпайтесь. Машина готова. Командир приказал доставить вас обратно в госпиталь, — сказал он, переминаясь с ноги на ногу.

Я села на продавленном матрасе, пытаясь сообразить, где я и что происходит. Тело ломило так, будто меня переехал грузовик. Голова гудела, во рту было сухо, как в пустыне, каждый сустав ныл от усталости. Но внутри — тепло. То самое, которое появилось вчера, когда он поцеловал меня. Оно грело меня изнутри, несмотря на холод и грязь вокруг.

— А где Фан? — спросила я, оглядываясь по сторонам. Может, он просто вышел? Может, он сейчас вернётся?

— Командира вызвали на задачу, — ответил боец, отводя взгляд в сторону. — Срочно. Просил передать, что вернётся. И чтобы вы не волновались. Сказал, что у него теперь есть ради кого возвращаться.

Я кивнула, чувствуя, как внутри что-то обрывается. Он ушёл. Не попрощавшись. Не сказав ни слова. Просто оставил

этого салагу, чтобы тот отвёз меня обратно.

— А как его зовут? — спросила я, пытаясь отвлечься от мыслей.

— Кого? — парень удивлённо поднял брови.

— Вас. Как вас зовут?

Он улыбнулся — широко, по-мальчишески, и его веснушки на носу собрались в забавную россыпь.

— Егор, — сказал он. — Егор Смирнов. Но все зовут просто Смирный.

— Почему Смирный?

— Потому что я, — он замялся, — ну, спокойный. Никогда не лезу в драки, не ору, не спорю. Смирный, и всё.

Я улыбнулась. Первый раз за это утро.

— Спасибо, что приехал за мной, Егор.

— Да не за что, — он смутился. — Командир сказал доставить в целости и сохранности, а то голову оторвет. А он оторвет, за вас. Вот я и везу.

Я быстро собралась. Медицинский чемодан (пустой), сумка, куртка — всё, что у меня было. На выходе из штаба я обернулась. Серое неприметное здание, выбитые окна, грязь и пыль. Но это место стало для меня родным. Потому что здесь был ОН.

Дорога до госпиталя прошла в тишине. Егор — рыжий паренек, совсем салага зеленый, веснушчатый, с добрыми глазами — молчал всю дорогу, но я чувствовала, что он хочет что-то сказать. Несколько раз он открывал рот, потом закры-

вал. Наконец, я не выдержала.

— Ты что-то хочешь спросить, Егор?

Он покраснел до корней волос.

— Ну… доктор… вы это… вы с командиром?

— Что? — не поняла я.

Он ещё больше смутился.

— Ну, я видел, как вы вчера… на ступеньках… — он замолчал, не зная, как закончить.

— Это не твоё дело, Егор, — ответила я без злости. — Просто вези меня.

— Везу, везу, — закивал он. — Но командир — он же… он как зверь. Никого к себе не подпускал никогда. А вы… он на вас так смотрит…

Я улыбнулась, чувствуя, как внутри разливается тепло.

— Как смотрит?

— Как на икону, — сказал Егор серьёзно. — Как будто молится. Я такого ни разу не видел.

Я отвернулась к окну, чтобы он не видел моих глаз. Слёзы наворачивались на глаза. Снова.

— Мы скоро, — добавил он, видимо, решив, что ему не надо было этого говорить. — Уже близко.

Я смотрела в окно на серые поля, на сожжённые деревья, на обгоревшие дома и думала о Фане. О его губах. О его глазах. О том, как он сказал: «Ты моя». О том, как он накрыл меня собой, когда рвануло. О том, как он смотрел на меня, когда я лежала под ним.

И я улыбалась. Как дурочка. Как девчонка. Как влюблённая женщина.

— Приехали, — сказал Егор, когда УАЗик остановился у крыльца госпиталя. — Вы нормально?

— Нормально, — ответила я.

Он помог мне вытащить медицинский чемодан. Подал руку, неловко улыбнулся.

— Счастливо оставаться, доктор. Командир скоро вернётся. Он всегда возвращается.

— Спасибо, Егор, — сказала я. — Береги себя.

— Обязательно! — крикнул он мне в спину, запрыгивая обратно в машину. — И вы берегите! Командир сказал, что вы ему нужны!

Я помахала ему рукой и пошла ко входу в госпиталь.

Главврач встретил меня на крыльце. Он стоял, опёршись плечом о колонну, как всегда, с сигаретой в руке. Увидел меня и его лицо озарилось улыбкой.

— Олеся! — он выглядел уставшим, но обрадованным. — Ты жива! Слава богу!

— Жива, Павел Захарович, — улыбнулась я. — И почти невредима.

— Почти?

— Немного устала, — призналась я.

Он усмехнулся.

— Ты выглядишь так, будто ночевала в бункере с медведем.

— Так и было, — сказала я, и в моём голосе прозвучала такая теплота, что главврач поднял брови.

— Что-то случилось? — спросил он осторожно.

— Случилось, — сказала я. — Много всего. Но я потом расскажу.

— Хорошо, — кивнул он. — Иди в общагу. Отдыхай. Хотя бы несколько часов. Ты вся в пыли, в грязи, под глазами синяки. Выглядишь так, будто тебя через мясорубку пропустили.

— Очень верное сравнение, — усмехнулась я, но не стала объяснять.

Я просто кивнула и пошла в общагу.

Комната встретила меня холодом и тишиной. Печка была сломана — Фан так и не починил, — но я не обращала внимания. Я упала на кровать, даже не раздеваясь, и вырубилась. Сознание отключилось мгновенно, как будто кто-то выключил свет.

Не помню, сколько я спала. Час? Два? Может, сутки. Сквозь сон я чувствовала, как холод пробирается под одеяло, как где-то за окном завывает ветер, как скрипят половицы в коридоре.

И вдруг — стук.

Громкий, настойчивый, резкий. Кто-то барабанил в дверь кулаком. Я подскочила. Сердце забилось быстрее, в груди разлилось тепло. Фан! Он вернулся!

Я вскочила с кровати, поправила волосы, натянула свитер.

На губах уже застыла улыбка. Я распахнула дверь, готовая броситься в объятия любимого.

— Игорь, ты…

Слова застряли в горле. На пороге стоял не Фан.

22.

В дорогом чёрном пальто, с идеальной укладкой, с той самой улыбкой, от которой я таяла и у меня подкашивались ноги. А сейчас, я просто не могла смотреть на него. Мне физически было плохо. Внутри все переворачивалось и хотелось кричать, только чтобы он ушел и больше никогда не приходил.

Муж стоял, засунув руки в карманы, и смотрел на меня сверху вниз — снисходительно, насмешливо, как на провинившуюся собаку, которая сбежала с поводка, но ее нашли и вернули в дом.

— Ну здравствуй, Олесь, — сказал он, ухмыляясь. — Не ждала?

Я смотрела на него и не верила своим глазам. Он не мог быть здесь. Просто не мог. Это какой-то кошмарный сон. Внутри всё сжалось — сердце, лёгкие, каждая клетка. Я чувствовала, как холодный пот выступает на спине.

— Что ты здесь делаешь? — выдавила я. Голос сорвался на хрип, пальцы вцепились в дверной косяк.

— Приехал за тобой, — он шагнул ко мне, переступая порог моей маленькой, холодной комнаты. Его ботинки скрипнули по деревянному полу. — Хватит дурить. Собирайся. Поехали домой.

Внутри всё оборвалось — надежда, тепло, ощущение, что всё будет хорошо. Всё разбилось вдребезги, когда я увидела его лицо.

Я отступила назад… только чтобы не касаться его. Настолько мне было омерзительно, что меня начало подташнивать.

— Как ты меня нашёл? — спросила я, чувствуя, как голос дрожит.

Он усмехнулся, засунул руки в карманы пальто.

— Твоя подружка Лиля, — сказал он. — Она долго не хотела говорить. Пришлось немного пригрозить, что уволю её из клиники. И уволю всех, кто её прикроет. Она сказала, что ты поехала домой, на малую, так сказать, родину. Ну а здесь я уже сам нашёл. Ты же врач, Олесь. Значит, искать надо больничку. Я ждал тебя возле той старой развалины, именуемый госпиталь. А потом проследил, как ты пошла сюда. Увидел твою тачку, подождал, осмотрелся — и пришёл к тебе. Все просто, как два пальца обоссать.

Он улыбнулся. Такая знакомая улыбка. Такая мерзкая, что у меня свело челюсть.

— Ты глупая, Олесь! Пустышка и всегда ею была. Не можешь срать, не мучай жопу. От меня не спрячешься, даже не пытайся.

Я молчала. Смотрела на него и чувствовала, как внутри закипает злость. Холодная, белая, как раскалённый металл.

— Теперь собирайся, — сказал он, делая шаг вперёд. —

Поехали домой, жена.

— Домой? — я рассмеялась. Нервно, истерично, почти с надрывом. — У меня нет дома. Ты вышвырнул меня на улицу, как ненужную вещь. Помнишь?

— Ошибся, — сказал он спокойно, как будто речь шла о разбитой чашке. — Карина всё придумала. Я понял, что был не прав, а теперь хочу, чтобы ты вернулась.

— Ты серьёзно? — выдохнула я, и в груди всё закипело. — Ты трахал мою мачеху в моём кабинете. Ты сказал, что я бесплодная и ущербная. Ты вышвырнул меня на улицу. И теперь ты приехал, чтобы сказать «ошибся»?

— Олесь, не устраивай сцен, — он поморщился, как от зубной боли. — Все люди ошибаются. К тому же я тебя люблю. Да и кому ты нужна, кроме меня? Подумай, своей пустой головушкой, – сказал детским голоском и постучал себя по голове, словно понукая ребенка.

— Своей пустой головушкой? — переспросила я, и голос мой зазвенел, как натянутая струна. — Спасибо, Вадим, что напомнил. Ты знаешь, не такая уж она и пустая. И именно поэтому я уехала. Именно поэтому я подала на развод. Именно поэтому я больше никогда — слышишь? НИКОГДА — не вернусь к тебе.

Он шагнул ко мне — резко, зло. Схватил за руку, сжал пальцы так, что я вскрикнула.

— Пойдём, — сказал он, и его голос стал ледяным.

— Отпусти меня! — я попыталась вырваться, но он дер-

жал крепко.

— Ты моя жена, — он сжал пальцы сильнее, и я почувствовала, как хрустнули суставы. — Ты поедешь со мной. Сейчас.

— Нет!

Он толкнул меня в комнату. Я упала на кровать, ударившись плечом о спинку. В глазах потемнело. Он навалился сверху, прижимая меня к матрасу, и я почувствовала запах его парфюма, и меня снова начало мутить. Я задыхалась.

— Ты моя! — зарычал он, и его лицо перекосилось от злобы. — Слышишь? Моя!

Он рванул мой свитер. Я закричала, почувствовав холод воздуха на коже.

— Отпусти! Отпусти меня, урод! — я била его кулаками по груди, царапала лицо, но он был сильнее. Намного сильнее. Его руки хватали меня за грудь, срывали одежду.

— Ты моя жена! — повторял он, и его дыхание было горячим, липким. — И ты будешь делать то, что я скажу! Ты никуда не денешься! Я тебя никому не отдам!

Я чувствовала, как его пальцы впиваются в мою кожу, как его колено раздвигает мои ноги. Меня душили слёзы, душил страх, душила его мерзкая близость. Я задыхалась.

— Помогите! — заорала я что есть силы, и голос сорвался в надрывный крик. — Кто-нибудь! Помогите!

23.

Вокруг было темно. Только его руки. Его лицо и его ненавистная улыбка.

Но дверь распахнулась.

И я увидела свет. И силуэты женщин в дверном проёме.

— Отойди от неё, ублюдок! — закричала Галя, врываясь в комнату. Она была в старой фуфайке, волосы растрёпаны, глаза горят яростью. В руке — чугунная кочерга. Я такие раньше только в деревне видела.

— Вы кто такие?! — заорал Вадим, поворачиваясь к ним, но все еще придавливая меня своим телом. — Это моя жена! Я имею право!

— Она кричала «помогите», значит, ты ей не муж! — рявкнула Галя. — Убирайся! Пока живой!

Рядом появилась комендантша Аня. Она была в старом пуховом платке, накинутом на плечи, и держала в руках тяжёлую чугунную сковороду. Её лицо было бледным, но глаза горели.

— Отойди от неё, сволочь, — сказала Аня, и голос её не дрогнул.

Вадим усмехнулся, медленно поднялся и шагнул к ним. Его лицо было перекошено от ярости.

— Я не знаю, кто вы, но если вы сейчас не уйдёте, я…

Он не договорил.

Аня размахнулась сковородой и со всей силы ударила его по плечу. Удар был тяжёлым, глухим. Я услышала, как Вадим вскрикнул и отлетел в сторону, врезавшись спиной в деревянный стол, стоявший у стены.

— Суки! — заорал он, поднимаясь. — Я вас всех…

Он был страшным. Злым. С дикими глазами, с перекошенным лицом. Его ухоженные волосы теперь торчали во все стороны. Он шагнул к женщинам, и я поняла: они не справятся. Он выше их, он в ярости и он может убить.

Но в дверях появилась третья.

Девушка, которую я видела мельком на лестнице — светловолосая, худая, с испуганным лицом. Но сейчас в рука

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.